

ГЕНРИ МИЛЛЕР

Биг-Сур
и апельсины
Иеронима
Босха

PREMIUM

Азбука Premium

Генри Миллер

**Биг-Сур и апельсины
Иеронима Босха**

«Азбука-Аттикус»

1957

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Миллер Г.

Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха / Г. Миллер — «Азбука-Аттикус», 1957 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-14806-2

Генри Миллер – виднейший представитель экспериментального направления в американской прозе XX века, дерзкий новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились под запретом на его родине, мастер исповедально-автобиографического жанра. Скандальную славу принесла ему «Парижская трилогия» – «Тропик Рака», «Черная весна», «Тропик Козерога»; эти книги шли к широкому читателю десятилетиями, преодолевая судебные запреты и цензурные рогатки. Но прошло много лет. После долгих скитаний писатель поселился на юге Калифорнии, и здесь «родился» новый Миллер – вдумчивый, глубокий философ. Разумеется, он не обходит свои «бедовые годы» в Париже, но рассказывает и о том, как учился у великих писателей и художников, излагает свои мысли о мировой литературе и искусстве. И тут же, рядом, – смелые, остроумные беседы с новыми друзьями...

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-389-14806-2

© Миллер Г., 1957

© Азбука-Аттикус, 1957

Содержание

Предисловие	7
Хронологическое	8
Топографическое	9
В начале	11
Часть первая	13
Часть вторая	28
1. Культ секса и анархии	28
2. Шайка из Андерсон-Крика	39
3. История Камы	50
4. Мания акварели	56
5. Сияющий взгляд (Пуки и Батч)	64
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Генри Миллер

Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха

...Убеждение и опыт говорят мне, что прокормиться на нашей земле – не мука, а приятное времяпрепровождение, если жить просто и мудро.

Торо

На свою беду или, может, счастье, я распоряжаюсь натурой по прихоти страсти и вдохновения... Я включаю в свои картины все, что хочу. Тем хуже для вещей, мною изображаемых, – им приходится уживаться друг с другом.

Пикассо

Я люблю живопись с тех самых пор, как осознал это, будучи шестилетним. В пятьдесят я написал несколько картин, которые показались мне довольно неплохими, но, в сущности, почти ничего из написанного мною до семидесяти лет не представляет никакой ценности. В семьдесят три я наконец познал все, что есть в природе, – птиц, рыб, животных, насекомых, деревья, травы – все. В восемьдесят я пойду еще дальше и по-настоящему овладею секретами искусства в девяносто. Когда мне исполнится сто, моя живопись обретет истинное совершенство, а конечной цели я достигну приблизительно к ста десяти годам, когда на моих картинах каждая линия и точка будут полны жизни.

Хокусаи.

Старик, помешавшийся на искусстве

ЭМИЛИУ УАЙТУ

из Андерсон-Крика,

одному из немногих друзей, никогда не подводивших меня

Henry Miller

Originally published under the title

BIG SUR AND THE ORANGES OF HIERONYMUS BOSCH

Copyright © 1957 by New Directions Publ.

Corp. & The Estate of Henry Miller

© В. Минушин (наследник), перевод, 2018

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство АЗБУКА®

* * *

В конечном итоге место Генри Миллера будет среди исполинских литературных аномалий наподобие Уитмена или Блейка, оставивших нам не просто произведения искусства, но уникальный корпус идей, влияющий на весь культурный ландшафт. Современная американская литература начинается и заканчивается Генри Миллером.

Лоренс Даррелл

Книги Генри Миллера – одно из немногих правдивых свидетельств времени.

Джордж Оруэлл

Подруга Миллера Анаис Нин называла Генри «китаец». В этом прозвище, возможно, заключается суть Миллера, ведь Анаис знала его, как никто другой. В данном случае «китаец» выражает отстраненную, восточного характера философичность Миллера. Он не страстный Жан Жене, не желчный Селин. Его книги – книги не борьбы с миром, но книги гармонического примирения.

Эдуард Лимонов. Священные монстры

Миллер заболел самой отважной, самой опасной, самой безнадежной мыслью XX века – мечтой о новом единстве. В крестовый поход революции Миллер вступил с такими же фантастическими надеждами, как и его русские современники. Революция, понимаемая как эволюционный взрыв, одушевляющий космос, воскрешающий мертвых, наделяющий разумом все сущее – от звезд до минералов. В ряду яростных и изобретательных безумцев – Платонова, Циолковского, Заболоцкого – Миллер занял бы законное место, ибо он построил свой вариант революционного мифа.

Александр Генис

Для Миллера европейская культура порочна именно потому, что она считает человека венцом природы, мерой всех вещей и ставит его над миром, изымая людской разум из животной стихии. Миллер рассуждает о возвращении человека в эту стихию, которое равнозначно освобождению личности.

Андрей Аствацатуров

Все темы послевоенных контркультурных авторов Миллер отработал еще до войны. Читая его книги сегодня, невольно завидуешь людям, которые жили в те времена, когда все то, о чем он пишет, было еще свежо и писатель мог, не стесняясь, построить книгу как череду рассказов о своих мистических переживаниях и рассуждений о том, куда катится мир.

Сергей Кузнецов

Предисловие

Эта книга состоит из трех частей и эпилога, который первоначально я предполагал издать отдельной брошюрой под названием «Ответ моим читателям!». Эпилог этот, написанный в 1946 году, когда я жил в Андерсон-Крике, был с тех пор сокращен и переработан. Теперь он представляет собой нечто вроде аппендикса, и его можно читать по желанию в первую или в последнюю очередь.

Еще я намеревался включить Приложение с перечнем моих произведений, изданных не только в Америке и Англии, но и в переводах на другие языки, однако, поскольку это уже было сделано в недавно вышедшей книге, отсылаю всех, кого интересуют эти сведения, к указанным ниже изданиям.¹

Сейчас я работаю над единственной вещью – «Нексусом», заключительным романом трилогии «Распятие розы». «Мир Лоуренса», отрывки из которого появлялись в антологиях издательства «Нью дирекшнз», мною давно заброшен. «Созвездие Дракона и земная эклиптика» пока остается на стадии замысла.

За исключением одной книги, опубликованной в Париже на английском языке, следующие мои вещи, в большинстве своем уже вышедшие в переводах на французский, немецкий, датский, шведский и японский, в этой стране до сих пор находятся под запретом: «Тропик Рака», «Нью-Йорк и обратно», «Черная весна», «Тропик Козерога», «Мир секса» и «Распятие розы» («Сексус» и «Плексус»). «Сексус» в настоящий момент запрещено издавать – на любом языке! – и в Париже. В Японии наложен запрет на японскую версию этого романа, но не на оригинальную англоязычную – по крайней мере, пока. «Тихие дни в Клиши», которая только что ушла в печать (в Париже), возможно, тоже запретят – и здесь, и повсюду.

Что касается того, как и где добыть запрещенные книги, то самый простой способ – это совершить налет на таможню в любом из наших портовых городов.

Я сердечно благодарен Чарлзу Холдмену, который проделал неблизкий путь из Уинтер-Парк, штат Флорида, чтобы вручить мне книгу Вильгельма Френгера о Иерониме Босхе. Да простит он мне, что в тот день я был недостаточно гостеприимен!

¹ Альфред Перле. «Мой друг Генри Миллер». Невил Спearмен лимитед, Лондон, 1955, и Джон Дэй компани, Нью-Йорк, 1956. – Примеч. Г. Миллера.

Хронологическое

В начале 1930 года я покинул Нью-Йорк, намереваясь отправиться в Испанию. В Испанию я так и не попал. Вместо этого остался во Франции, где прожил до июня 1939-го, когда уехал на столь чаемый отдых в Грецию. В начале 1940 года, из-за разразившейся войны, я оставил Грецию и вернулся в Нью-Йорк. До того как обосноваться в Калифорнии, я предпринял «кондиционированно-кошмарную» поездку по Америке, на что ушел целый год. За эти почти два с половиной года я написал «Колосса Маруссийского», «Мир секса», «Тихие дни в Клиши», отдельные главы «Кондиционированного кошмара» и «Сексус» – первую книгу трилогии «Распятие розы».

В июне 1942-го я приехал в Калифорнию, чтобы обосноваться там. Больше года я жил в Беверли-Глен под Голливудом. Там я встретил Жана Варда, который уговорил меня погостить у него в Монтерее. Это было в феврале 1944-го. Я оставался у Варда в его Красном Амбаре несколько недель, а потом он предложил съездить в Биг-Сур, желая познакомить меня с Линдой Сарджент. Линда в то время занимала бревенчатую хижину, вокруг которой с тех пор вырос знаменитый Нипент. Я прогостил у нее, наверно, месяца два, когда Кит Эванс, служивший тогда в армии, предложил устроиться в его хибаре на Партингтон-Ридже (благодаря стараниям Линды Сарджент). В ней я прожил с мая 1944-го по январь 1946-го, успев за это время совершить короткую поездку в Нью-Йорк, в очередной раз жениться (в Денвере) и стать отцом Валентайн, моей дочери. По возвращении Кита Эванса к гражданской жизни мы были вынуждены искать себе другое пристанище. В январе 1946-го мы перебрались в Андерсон-Крик, в трех милях дальше по шоссе, где сняли одну из старых хибар, в которых когда-то ютились каторжане, стоящую на краю обрыва, над океаном. В феврале 1947-го мы вернулись в Партингтон-Ридж и поселились в доме, который построила для себя Джин Уортон. Под самый конец того года к нам приехал Конрад Морикан, но выдержал только месяца три, на большее его не хватило. В 1948-м родился мой сын, Тони.

Партингтон-Ридж находится милях в четырнадцати к югу от биг-сурской почты и еще примерно в сорока – от Монтерея. Не считая приятного путешествия в Европу в 1953-м, когда я снова женился, там, в Партингтон-Ридже, я и живу с того февраля 1947 года.

Топографическое

Двенадцать лет назад, в феврале, я приехал в Биг-Сур – под проливным дождем. Вечером в тот же день, после освежающего купания под открытым небом в горячих серных источниках (Слейдовы Ключи), я обедал у Россов в их романтическом старом коттедже на Ливермор-Эдж. Тот вечер положил начало чему-то, что было больше, нежели просто дружба. Точнее, пожалуй, было бы назвать это приобщением к новому образу жизни.

Спустя несколько недель после нашего знакомства я прочитал книгу Лилиан Бос Росс «Чужак». До этого я был здесь просто приезжим, посторонним. Чтение этой книги, «малой классики», как ее называют, укрепило во мне решимость осесть здесь, пустить корни. «Впервые в жизни, – цитирую героя этого романа, Занда Аллена, – я почувствовал себя уютно в мире, в котором родился».

Много лет назад наш великий американский поэт Робинсон Джефферс начал воспевать этот край в своих эпических поэмах. В старину в Биг-Сур частенько наведывался Джек Лондон с другом, Джорджем Стерлингом; они верхом проделывали весь путь из ранчо Лондона в Лунной долине. Однако обычная публика почти ничего не знала об этом крае до тех пор, пока не открыли шоссе Кармел – Сан-Симеон, которое на протяжении шестидесяти или более миль идет по берегу Тихого океана. По сути, до той поры это было, наверно, одно из самых малоизвестных мест во всей Америке.

Первые поселенцы, главным образом горцы, потомки закаленных пионеров, появились здесь в 1870-х годах. Они, как предполагает Лилиан Росс, шли за стадами бизонов и умели жить на одном мясе без соли. Передвигаясь пешком и верхом на лошадях, они достигли земли, на которую еще не ступала нога белого человека, даже неустрашимых испанцев.

Насколько известно, единственными людьми, обитавшими прежде в этих местах, были индейцы-эsslены, племя в культурном отношении отсталое и ведшее кочевой образ жизни. Они говорили на языке, отличном от языка других индейских племен Калифорнии и остальной Америки. Первым католическим миссионером, появившимся в Монтерее в 1770-х годах, эти индейцы рассказывали о своем древнем городе, именовавшемся Экслен, однако никаких следов его существования так и не было обнаружено.

Но сначала следует, наверно, пояснить, где находится Биг-Сур. Он тянется от точки чуть севернее Литтл-Сур-Ривер (от Малпасо-Крик) и на юг до Лусии, которую так же, как Биг-Сур, отыщешь не на всякой карте. И от Тихоокеанского побережья – до Салинас-Вэлли на востоке. Общая территория района Биг-Сур примерно равна площади двух-трех государств вроде Андорры.

Иногда от какого-нибудь заезжего можно услышать, что этот район, юг Тихоокеанского побережья, напоминает некоторые места побережья Средиземноморского; другие видят в нем сходство с побережьем Шотландии. Но все сравнения бессмысленны. У Биг-Сура свой неповторимый климат и особый характер. Это место, где сходятся крайности, где человек всегда ощущает погоду, пространство, величие и выразительную тишину. Среди прочего, это место, где собираются перелетные птицы, летящие с севера и юга. Более того, говорят, что такого разнообразия птиц не найдешь больше нигде в Штатах. А еще это родина секвой; их встречаешь, попадая в Биг-Сур с севера, и оставляешь позади, продвигаясь дальше на юг. До сих пор здесь по ночам можно услышать вой койотов, а если рискнуть углубиться в горы, перевалив через первый хребет, можно встретить горных львов и другого дикого зверя. Медведей-гризли здесь уже не осталось, но с гремучими змеями приходится считаться. В ясный солнечный день, когда синева океана соперничает с синевой небес, видишь ястреба, орла, канюка, парящих над каньонами, объатыми тишиной и покоем. Летом, когда собираются туманы, можно смотреть с высокого берега на море облаков, равнодушно плывущих над океаном; иногда они похожи

на переливающиеся всеми красками мыльные пузыри, над которыми время от времени возникает двойная радуга. В январе и феврале холмы отчаянно зелены, почти так же, как на «Изумрудном острове». Вообще, с ноября по февраль – самое лучшее в этих краях время, когда воздух свеж и бодрящ, на небе ни облачка, а солнце еще достаточно греет, чтобы принимать солнечные ванны.

С нашего утеса, возвышающегося над морем на тысячу футов, берег виден на двадцать миль в обе стороны. Шоссе извивается, как Большой Карниз. Однако вид здесь иной, чем на Ривьере, – взор нашаривает лишь несколько домиков, затерявшихся среди дикой природы. Старожилы, которые владеют громадными земельными участками, не испытывают восторга, видя, что все больше людей открывает для себя существование этого края. Они как один стоят за сохранение его первозданности. Долго ли смогут они противостоять пришельцам? Это большой вопрос.

Вернемся к шоссе. Его проложили огромной ценой, буквально вырвав взрывчаткой кусок горного склона. Теперь оно становится частью трансконтинентальной автострады, которая в один прекрасный день протянется от северной оконечности Аляски до Огненной Земли. К тому времени как закончат ее строительство, автомобили могут вымереть, как мастодонты. Но Биг-Сур пребудет вечно, и, возможно, в году от рождества Христова этак 2000-м те же несколько сотен душ будут составлять все его население. Может быть, подобно Андорре или Монако, Биг-Сур станет республикой, такой же своеобразной, как они. А может, наводящие ужас пришельцы явятся не из других частей этой страны, а из-за моря, как, по предположениям, явились сюда американские аборигены. И если это случится, они прибудут не на кораблях или самолетах.

А кто в состоянии сказать, когда эту землю вновь покроют воды бездны? По геологическим меркам она не столь уж давно поднялась из моря. Ее горные склоны не менее коварны, чем ледяное море, в котором, кстати, вряд ли когда увидишь лодку под парусом или отчаянного пловца, зато временами можно разглядеть точку вдалеке – тюленя, выдру или спермацетового кита. К морю, такому как будто близкому и такому манящему, трудно подступиться. Известно, что конкистадоры не смогли пройти по берегу вдоль воды, не смогли они и пробиться сквозь заросли, покрывающие горные склоны. Заманчивая земля, но трудная для покорения. Она сопротивляется человеку, не желая, чтобы он заселил ее, опустошил.

Часто, взбираясь по тропе, которая вьется по вершинам прибрежных холмов, я останавливаюсь, пытаюсь охватить взглядом торжественную красоту и величие пейзажа с его бесконечным горизонтом. Часто, когда на севере громоздятся облака и по морю бегут пенные волны, я говорю себе: «Это Калифорния, что в давние времена грезилась людям, это Тихий океан, на который Бальбоа смотрел с вершины Дарьена, это лик земли, какой замыслил ее Творец».

В начале

В другие, стародавние времена здесь обитали одни призраки. То есть в начале. Если было когда-нибудь начало.

Это всегда был дикий, скалистый берег, пустынный и враждебный к городскому человеку, обладающий колдовской притягательностью для отпрыска Талиесина. Поселенец никогда не упускал возможности отнести всякую новую напасть на счет мистических сил.

Здесь всегда были птицы: морские разбойники и падальщики и великое множество перелетных. (От времени до времени появлялся кондор, громадный, как океанский лайнер.) В ярком оперении, с жесткими и безжалостными клювами. Они чернели по всему горизонту, словно стрелы, замершие на невидимой тетиве. Близ берега они, казалось, блаженствовали, мечась, планируя, пикируя, ныряя в волны. Одни сновали вдоль утесов и полосы прибоя, другие обследовали каньоны, золотые холмы, мраморные вершины гор.

А еще здесь жили всякие пресмыкающиеся, ползающие твари, одни медлительные, как ленивец, другие ядовитые, но все до абсурда прекрасные. Люди боялись их больше, чем невидимых существ, которые без умолку верещали, как обезьяны, когда опускалась ночь.

Путнику, пешему ли, конному, приходилось иметь дело с шипами, колючками, гадами земными – со всем тем, что колется, впивается, кусается и выпускает яд.

Кто были первые поселенцы этого края? Наверное, пещерные люди. Индейцы пришли сюда позже. Много позже.

Хотя по геологическим меркам эта земля молода, она кажется невероятно древней. Океанские глубины исторгли на свет диковинные образования, чьи очертания неповторимы и притягательны. Как если бы титаны трудились во глубине миллиарды лет, мяли и лепили каменное тесто. Даже тысячелетия назад огромные земные птицы шарахались от нагромождений столь крутого замеса.

Здесь нет ни руин, ни следов древней культуры, заслуживающих упоминания. У этого края нет и истории, о которой стоит говорить. Небыль ярче были. Секвойи заняли здесь последний рубеж обороны.

На рассвете почти больно смотреть на их величие. Тот же доисторический облик. Неизменный от начала. Природа улыбается себе, глядясь в зеркало вечности.

Далеко внизу, на теплых скалах, греются тюлени, извиваясь, как толстые бурые черви. Хриплые их голоса, перекрывающие немолчный шум прибоя, слышны за несколько миль.

Может, когда-то было две луны? Почему бы нет? Есть горы, лишившиеся скальпа, и потоки, что кипят под глубокими снегами. Земля временами грохочет, обращая в прах города и открывая новые золотоносные жилы.

Ночью по всему проспекту рубиновые глаза.

И есть ли там что-нибудь под стать фавну, скачущему через бездну? В сумерках, когда все смолкает, когда сходит таинственная тишина, окутывает все, тогда все говорит.

Охотник, опусти ружье! Обвиняют тебя не те, кто убит тобой, но тишина, пустота. Ты богохульствуешь.

Я вижу того, кто намечтал все это, скача под звездами. Молча въезжает он в лес. Каждая веточка, каждый опавший лист – мир неведомый. Сквозь драный полог листвы, дробясь, сеется свет, порождая дивные, фантастические образы; возникают огромные головы, память об исчезнувших гигантах.

«Моя лошадь! Моя земля! Мое царство!» – лепет идиотов.

Двигаясь вместе с ночью, всадник и лошадь пьют аромат сосны, камфарного дерева, эвкалиптов. Покой расправляет нагие крыла.

Предполагалось ли когда, что будет иначе?

Доброта, великодушие, покой и милосердие. Ни начало, ни конец. Круг. Вечный круг.

И вечно отступает море. Притяженье луны. На Запад, к новой земле, невиданной. Мечтатели, преступники, предшественники. Устремляются к другому миру, древнему и далекому, миру прошлого и будущего. Миру внутри мира.

Теньями какого царства света были мы, погрузившие во мрак землю, где кипела жизнь?

Часть первая

Апельсины «Тысячелетнего царства»

Первоначальная крохотная колония, состоявшая из единственного человека, легендарного «варяга» Хайме де Ангуло, выросла до дюжины семей. Сейчас на горе (Партингтон-Ридж) почти не осталось свободного места – жизнь течет и в этой части света. Единственное, чем Биг-Сур одиннадцатилетней давности значительно отличается от сегодняшнего, – так это множеством новых детей. Матери, похоже, рожают здесь столь же щедро, как земля. Маленькой деревенской школы, что неподалеку от Стейт-Парк, уже едва хватает. Школы, такие, как эта, к большому несчастью для наших детей, быстро исчезают из американской жизни.

Что будет еще через десять лет, неизвестно. Если в этих местах найдут уран или другой какой металл, жизненно необходимый для военщины, Биг-Сур отойдет в область преданий.

Сегодня Биг-Сур уже не затерянный аванпост на Дальнем Западе. Туристов и всякого приезжего люда с каждым годом становится все больше. Только один «Путеводитель по Биг-Суру» Эмиля Уайта привлек целые орды любителей достопримечательностей к нашему порогу. Что поначалу заявляло о себе с девичьей скромностью, теперь грозит превратиться в золотую жилу. Первые поселенцы вымирают. Если их громадные земельные владения будут разделены на мелкие участки, Биг-Сур может быстро стать предместьем (Монтерея) с неизбежными автобусными остановками, ресторанчиками с барбекю, заправками, однотипными магазинами и прочей мерзостью, делающей пригород таким отталкивающим.

Это пессимистический взгляд на будущее. Возможно, нас не захлестнет вся та дрянь, которую несет с собой поток прогресса. Возможно, прежде, чем он затопит нас, наступит тысячелетнее царство!

Я люблю возвращаться мыслями к тем давним дням на Партингтон-Ридже, когда там не было ни электричества, ни баллонов с бутаном, ни холодильников, а почту привозили лишь трижды в неделю. В те времена, и даже позже, когда я вернулся на Партингтон-Ридж, мне удалось обходиться без машины. Конечно, у меня была небольшая тележка вроде тех, какими играют дети, ее сколотил для меня Эмиль Уайт. Впрягшись в нее, как старый козел, я прилежно тащил почту и продукты из бакалейной лавки к себе на гору, преодолевая мили полторы крутого подъема. У поворота к Рузвельтам, мокрый, хоть выжимай, я разоблачался до суспензория. А что могло мне помешать?

В те дни на холме появлялась главным образом молодежь – или вступающая в армию, или увольняющаяся из нее. (Тем же они занимаются и сегодня, хотя война закончилась в сорок пятом.) Большинство этих парней были художниками или воображали себя таковыми. Кое-кто задерживался на несколько дней, чтобы как-то разнообразить свое постылое существование; кое-кто возвращался позже, намереваясь всерьез попытаться счастья в этих краях. Все они были полны желания скрыться от ужасов нынешнего времени и готовы были жить как последние босяки, лишь бы их оставили в покое. Задуматься, странный то был народ! Джадсон Круз из Уэйко, штат Техас, был среди первых, кто нарушил наше уединение. Своей дремучей бородой и манерой говорить он напоминал одного современного философа, питался почти исключительно арахисовым маслом и листьями дикой горчицы, не курил и не пил. Норман Майни, который уже успел сделать примечательную карьеру, начав, по примеру Эдгара По, с того, что бросил Вест-Пойнт, жил здесь (с женой и детьми) так долго, что успел закончить свой первый роман – лучший первый роман, какой я когда-либо читал, тем не менее до сих пор не опубликованный. Норман был противоположностью Крузу. Хотя и беднее церковной мыши, он не вылезал из своего подвала, где у него имелся запас прекраснейших вин (местных и привозных), какому позавидовал бы всякий. А еще был Уокер Уинслоу, работавший тогда над рома-

ном «Если человек сумасшедший», который впоследствии стал бестселлером. Уокер писал с бешеной скоростью и, видимо, не делая перерывов, в крохотной хибаре у дороги, которую Эмиль Уайт построил, чтобы было где приютить бесконечную череду всякого рода бродяг, вечно совавшихся к нему в поисках пристанища на день, неделю, месяц или год.

Не меньше сотни художников, писателей, танцоров, скульпторов и музыкантов прошли через Партингтон-Ридж с тех пор, как я там поселился. По крайней мере, человек двенадцать из них обладали подлинным талантом и, возможно, оставили свой след в искусстве. Несомненным гением и самой, помимо Варда, грандиозной фигурой из всех был Герхарт Мюнх из Дрездена. Герхарт относится к категории людей самодостаточных. Он феноменальный, если не сказать уникальный, пианист. А еще он композитор. Кроме того, ученый, эрудит до кончиков ногтей. Если б, открыв нам музыку Скрябина, он этим и ограничился, – а он сделал много, много больше, чтобы просветить нас, но все, увы, без толку! – то и тогда мы, обитатели Биг-Сура, были бы в вечном долгу перед ним.

Что касается художников, то любопытно, что мало кто из их братии задерживался здесь надолго. Может, им чего не хватало? Или же здесь слишком много... слишком много солнца, слишком много тумана, слишком много покоя и блаженной умиротворенности?

Почти каждая колония художников своим возникновением обязана зрелому мастеру, который чувствует необходимость порвать с окружающей его кликой и жаждет уединения. Место обычно выбирается идеальное, особенно для его первооткрывателя, чьи лучшие годы прошли по грязным углам да мансардам. Те же, кто претендует на звание художника, для кого место и его атмосфера превыше всего, умудряются превратить этот рай для уединения в шумную, развеселую колонию. Остается подождать и посмотреть, не ждет ли подобная судьба и Биг-Сур. К счастью, для этого есть определенные препятствия.

По моему убеждению, идиллическая обстановка редко идет на пользу зрелому художнику. Что, похоже, ему нужно (хотя я последний, кто станет защищать подобную точку зрения), так это побольше жизненных испытаний – иначе говоря, больше горького опыта. То есть больше борьбы, больше лишений, больше страданий, больше разочарований. Здесь, в Биг-Суре, он не всегда может надеяться найти подобные возбудители или стимуляторы творчества. Здесь, если не быть на страже, если не быть готовым к борьбе как с призраками, так и с суровой реальностью, легко впасть в умственную и духовную спячку. Если художники устроят здесь свою колонию, ей уготована привычная судьба. Художники не живут колониями. Муравьи – да. Что нужно талантливому художнику, так это привилегия в одиночку одолевать свои трудности да время от времени хороший кусок мяса.

Основная проблема, с которой сталкивается человек, склонный к обособленной жизни, – это досужий гость. Совершенно невозможно решить, в наказание он или во благо. Несмотря на весь свой опыт последних лет, я до сих пор не знаю, как, каким способом защититься от внезапного вторжения, бесконечного нашествия назойливых, любопытствующих представителей племени *homo fatuoso*,² обладающих докучливой способностью заявляться к вам в самый неподходящий момент. Пытаться скрыться от них в неприступном убежище – бесполезно. Почитатель, желающий встречи с вами, *задавшийся такой целью*, пусть для того только, чтобы пожать вам руку, одолеет и Гималаи.

В Америке, как я давно уже заметил, человек живет на виду, беззащитный перед всяким незванным посетителем. От него ждут, чтобы он жил так, а не иначе, в противном случае его сочтут чудачком. Только в Европе писатели живут за садовыми стенами и запертыми дверями.

В добавление ко всем другим проблемам, которые ему приходится решать, художник вынужден вести неустанную борьбу, чтобы не быть втянутым во всеобщую свалку. То есть не попасть под бессмысленные жернова существования, которое каждодневно угрожает уничто-

² Человек легкомысленный (лат., ит.). – Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, примеч. перев.

жить всяческий душевный порыв. Больше любого другого смертного он нуждается в дружественной среде. Как писатель или художник, он способен работать практически где угодно. Препятствие одно: повсюду, какой бы дешевой ни была там жизнь, какой бы прекрасной ни была тамошняя природа, почти невозможно найти способ обеспечить себя самыми минимальными средствами, чтобы примирить потребности тела и души. Человек, обладающий талантом, должен или зарабатывать на жизнь чем-то помимо творчества, или же заниматься творчеством помимо основной работы. Трудный выбор!

Если ему повезет найти идеальное место – или идеальное сообщество, – из этого вовсе не следует, что он получит там поддержку, в которой так отчаянно нуждается. Напротив, он, возможно, увидит, что его творчество никому не интересно. Наверняка на него будут смотреть как на чужого или не похожего на всех. И он, конечно, *будет* таким, поскольку то, что выделяет его среди остальных, тот таинственный элемент «икс», отсутствует у его собратьев, которые, видимо, могут прекрасно обходиться без него. Как или что он ест, говорит, носит, почти всегда, на взгляд его соседей, будет странным, эксцентричным. И этого вполне достаточно, чтобы он был определен к осмеянию, презрению и изоляции. Если он устраивается на какую-нибудь скромную должность и тем демонстрирует, что он не хуже соседа, ситуация может отчасти улучшиться. Но ненадолго. Для художника почти или совсем неинтересно быть «не хуже соседа». Именно благодаря своей «инакости» он стал художником, и, дайте ему только возможность, он и своего собрата сделает тоже не похожим на других. Рано или поздно, тем или этим, но он обязательно вызовет раздражение своих соседей. В отличие от человека заурядного, он все на свете бросит, когда его охватит порыв к творчеству. Более того, ежели он *истинный* художник, он готов пойти на жертвы, с точки зрения практичных людей абсурдные и никому не нужные. Пускаясь в погоню за внутренним светом, он обязательно изберет в верные спутники бедность. И если есть в нем задатки великого художника, он способен отказаться от всего, даже от своего искусства. У рядового обывателя, особенно у добропорядочного, это просто не укладывается в голове. Так вот и случается иногда, что самый достойный, самый уважаемый член общества, не будучи способным распознать в человеке гения, может заявить: «Держитесь подальше от этого малого, у него в мыслях что-то недоброе!»

Мир таков, каков есть, и я искренне полагаю, что всякому, у кого умелые руки, кто готов в поте лица зарабатывать хлеб насущный, лучше бросить свое искусство, променять его на будничную жизнь в какой-нибудь глуши наподобие Биг-Сура. Действительно, может, есть высшая мудрость в том, чтобы предпочесть быть никем в относительном раю вроде этого, чем знаменитостью в мире, который потерял всякое представление о подлинных ценностях.

В нашей общине есть молодой человек, который, кажется, постиг того рода мудрость, о которой я говорю. Он имеет самостоятельный доход, чрезвычайно умен, хорошо образован, отзывчив, наделен прекрасным характером и не только мастер на все руки, но еще и человек с головой и сердцем. Определяя свою судьбу, он, очевидно, решил не заниматься ничем иным, как только заботиться о семье, обеспечивать ее всем необходимым и получать удовольствие от повседневной жизни. Он все делает самостоятельно – от возведения дома и хозяйственных построек до выращивания урожая, приготовления вина и так далее. В свободное время охотится или рыбачит, или просто бродит по окрестностям, общаясь с природой. На взгляд обывателя, он всего лишь еще один добропорядочный гражданин, только сложен лучше многих, крепче здоровьем, не завшивлен и полностью свободен от обычных неврозов. У него превосходная библиотека, собранная не красоты ради; он наслаждается, слушая хорошую музыку, и часто ставит пластинки. Он чувствует себя уверенно во всяких спортивных и прочих играх, не уступит любому силачу в тяжелой работе, да и вообще, как говорится, добрый малый, то есть умеет сходить с людьми и быть в ладу с миром. Но что он еще умеет и что доказывает делом, к чему рядовой обыватель не способен или не склонен, так это любить уединение, жить просто, не изнывать в мечтах о недостижимом и, когда необходимо, делиться тем, что имеет.

Не стану называть его имени, опасаясь оказать ему плохую услугу. Оставим его там, где он есть, мистера Икс, хозяина своей безвестной жизни и превосходный пример для других.

Два года назад, живя во Вьене (Франция), я имел честь познакомиться с Фернаном Рюдом, *sous-préfet*³ Вьена, обладающим примечательной библиотекой утопической литературы. Прощаясь с ним перед отъездом из Вьена, я получил в подарок его книгу «*Voyage en Icarie*»,⁴ в которой рассказывается о двух рабочих из этого города, столетие назад отправившихся в Америку, чтобы присоединиться к экспериментальной колонии Этьена Кабе в местечке Науву, штат Иллинойс. Описание американской жизни, не только в Науву, но и в городах, которые они проезжали, – в том числе и Нью-Йорке, а высадились они в Новом Орлеане, – с интересом читается и сегодня, если только дать себе труд заметить, что в самом существенном наш американский образ жизни не изменился. Конечно, Уитмен примерно в то же время рисовал (в своих прозаических вещах) схожую картину грубости нравов, насилия и продажности, которые процветали как в народе, так и в высшем обществе. С другой же стороны, обращает на себя внимание врожденное стремление американца к эксперименту, его желание испытать на практике самые безумные идеи, касающиеся социальных, экономических, религиозных отношений и даже отношений между полами. И в тех построениях, где доминируют религия и секс, получены результаты наиболее поразительные. Например, община в Онейде, штат Нью-Йорк, останется в истории таким же запоминающимся экспериментом, как «Новая Гармония» Роберта Оуэна в Индиане. Если же взять мормонов, то никто на этом континенте не предпринимал столь титанических усилий по постройке иного общества, и, вероятно, уже никогда не предпримет.

Участники всех подобных идеалистических авантюр, особенно тех, что были инициированы религиозными обществами, как будто обладали острым чувством реальности, практичным умом и тем не менее (в отличие от обычных христиан) совершенно не видели никаких противоречий между своими начинаниями и своими религиозными взглядами. Это были люди честные, законопослушные, трудолюбивые, самостоятельные, уверенные в себе, с сильным характером, цельные и яркие, до некоторой степени подпорченные (на наш нынешний взгляд) пуританскими трезвостью и суровостью, зато крепкие в вере, мужественные и независимые. Их влияние на образ мысли и поведение американцев было исключительно сильным.

С тех пор как я поселился здесь, в Биг-Суре, я все больше и больше замечая в своих согражданах-американцах эту склонность к эксперименту. Ныне это не общины или группы, стремящиеся жить «правильно», но отдельные личности. Большинство из них, по моим наблюдениям, молодые люди, которые имеют профессию, уже были женаты и развелись, успели отслужить в армии и, как говорится, повидали мир. Лишенные всяческих иллюзий, эти представители нового поколения экспериментаторов решительно отвернулись от всего, что когда-то считалось истинным и жизнеспособным, и предпринимают героическую попытку начать все с чистого листа. А это означает для них – вести бродяжническую жизнь, ничего не иметь, ни к чему не быть привязанным, сокращать свои потребности, укрощать желания и, наконец, – результат мудрости, рожденной терзаниями души, – жить жизнью художника. Впрочем, это уже художник иного типа, нежели известный нам. В противоположность прежнему это художник, которого интересует исключительно творчество, художник, равнодушный к наградам, славе, успеху. Короче говоря, изначально принявший тот факт, что чем он лучше, тем меньше у него возможности быть оцененным. Эти молодые люди, обычно под или слегка за тридцать, бродят сейчас среди нас как неопознанные посланцы с иной планеты. Убедительность их примера, их бескомпромиссный нонконформизм и, я бы сказал, «непротивление» доказывают, что в них

³ Супрефект (*фр.*).

⁴ «Путешествие в Икарию» (*фр.*). Название заимствовано у Этьена Кабе (*Étienne Cabet*), автора одноименного романа, где последний описывает свою (воображаемую) Утопию. Удивительно то, что эта книга, хотя и коммунистическая – в романтическом смысле, – описывает точную копию тоталитарных форм правления, какие мы имеем сегодня. – *Примеч. Г. Миллера.*

больше потенциальной, будоражащей мощи, чем в толпе красноречивых и горластых признанных художников.

Стоит заметить, что эти личности озабочены не подрывом порочной системы, но собственной жизнью – на обочине общества. Вполне естественно, что их притягивают такие места, как Биг-Сур, подобных которому множество в этой огромной стране. У нас в привычке говорить о «последнем рубеже», но всюду, где присутствуют «личности», всегда будут и новые рубежи. Для человека, желающего жить правильно, что то же самое, что *жить собственной жизнью*, всегда сыщется место, где он может прочно и надолго обосноваться.

Но в чем же состоит открытие, совершенное этими молодыми людьми, открытие, которое связывает их, что довольно интересно, с предками, покинувшими Европу ради Америки? Они открыли для себя, что американский образ жизни – это вид иллюзорного существования, что цена, какую он выставляет за обеспеченность и безопасность, слишком велика. Наличие этих «диссидентов», сколь они ни малочисленны, – лишь еще один показатель того, что машина выходит из строя. При будущей аварии, которая, как теперь представляется, неотвратима, у них больше шансов уцелеть в катастрофе, чем у всех нас. По крайней мере, они умеют обходиться без автомобилей, без холодильников, без пылесосов, электробритв и прочих «необходимых» вещей... а может, даже без денег. Если нам суждено когда-нибудь узреть новую землю под новым небом, это наверняка будет такая земля, где деньги исчезнут вовсе, где о них забудут как о совершенно бесполезной вещи.

Я хочу привести цитату из рецензии на книгу Элен и Скотта Ниринг «Жить правильно».⁵ Обозреватель пишет: «Мы пытаемся подвести к той мысли, что для человека, неудовлетворенного жизнью, не выход – просто перебраться в сельскую местность и попытаться вести „простую жизнь“. Выход же – в обращении к людскому опыту, по которому физическое и экономическое обустройство является едва ли не моральной и эстетической потребностью. Это важнейшая цель жизни, придающая более частным вопросам – заботе о пище, крове и одежде – необходимые гармонию и равновесие. Очень часто люди мечтают об идеальной жизни „в общине“, забывая, что „община“ не самоцель, а лишь обрамление для высших ценностей – ценностей ума и сердца. Создание общины – это не магическая формула счастья и добра; создание общины – это следствие счастья и добра, которые в принципе уже обретены людьми, и община, состоит она из одной семьи или нескольких, есть бесконечно разнообразное выражение людских совершенств, а не их причина...»

Должен признаться, что, «окапываясь» одиннадцать лет назад в Биг-Суре, я ни на миг не задумывался о жизни здешней общины. Мне даже не приходило в голову считать какую-то сотню душ, живших в удалении друг от друга на огромной площади в несколько сотен квадратных миль, «общиной». Моя община тогда состояла из пса Паскаля (эту кличку он получил за свой скорбный взгляд мыслителя), нескольких деревьев, канюков и зарослей сумаха, которые притворялись джунглями. Единственный мой друг, Эмиль Уайт, жил в трех милях дальше по дороге. Еще тремя милями дальше были горячие серные источники. Там община и кончалась, с моей точки зрения.

Мне, конечно, скоро стало ясно, что я заблуждался. Моментально со всех сторон начали появляться соседи – будто выныривали из кустов, – все с уймой подарков и благоразумных и дельных советов для «новичка». В жизни у меня не было лучших соседей! Каждый из них был столь тактичен и чуток, что я не переставал ими восхищаться. Они приходили только тогда, когда чувствовали, что ты нуждаешься в них. Как во Франции, мне казалось, что я вновь среди людей, которые умеют не досаждать вам попусту. И всегда, когда ты нуждался в еде или общении, ты был желанным гостем за их столом.

⁵ «Манас». Лос-Анджелес, 23 марта 1955 г. – Примеч. Г. Миллера.

Поскольку я был из тех «беспомощных» неумех, которые способны жить только в городе, довольно скоро мне пришлось обращаться к соседям за помощью. Вечно у меня что-нибудь не клеилось, вечно что-то ломалось. Я боялся подумать, что случится, если придется во всем полагаться только на собственные силы! И вообще, вместе с помощью, которую мне всегда охотно и с готовностью оказывали, меня учили самостоятельно управляться по хозяйству – наиболее ценный дар, какой мне могли предложить. Я очень скоро увидел, что мои соседи не только исключительно приветливы, обязательны, щедры во всем, но, что было сокрушительно для моего самомнения, еще и люди куда более сведущие, умные, самостоятельные, нежели сам я. Община, представлявшаяся поначалу невидимой паутиной, постепенно становилась более осязаемой, более реальной. Впервые в жизни я увидел, что меня окружают добрые души, которые думают не единственно о собственном благополучии. Во мне стало укрепляться неведомое прежде чувство надежности. Более того, я похвалялся перед гостями, что теперь, когда я стал жителем Биг-Сура, со мной уж наверное не может случиться ничего плохого. И осторожно добавлял: «Но сперва нужно показать себя добрым соседом!» Хотя говорилось это гостю, имел я в виду себя. И часто, проводив его, я мысленно повторял эту фразу как молитву. Видите ли, тому, кому всю жизнь приходилось бороться за выживание в джунглях большого города, требуется время, пока он поймет, что тоже может быть «соседом».

Должен откровенно – и не без сожаления – сказать, что я, несомненно, наихудший сосед, каким может похвастать любая община. И то, что меня по-прежнему не просто терпят, но прекрасно ко мне относятся, до сих пор меня удивляет.

Часто я чувствую себя настолько посторонним в этом мире, что единственный способ «вернуться» – это взглянуть на него глазами моих детей. Всякий раз я вспоминаю о своем прекрасном детстве, прошедшем в убогом квартале Бруклина, известном под названием Уильямсберг. Я пытаюсь отыскать связь между теми грязными улицами и убогими домами и этим бескрайним оком океана и гор. Я думаю о птицах, которых никогда не видел, кроме воробьев, пирующих на кучке дымящегося навоза, или редких голубей. Ни сокола, ни канюка, ни орла, ни малиновки или колибри. Я думаю о небе, разодранном на куски крышами и отвратительными дымовыми трубами. Я вновь дышу тем воздухом, в котором убиты все ароматы, часто тяжелым и гнетущим, пропитанным ядовитым дымом. Я думаю о том, как мы играли на улице, не ведая, что где-то есть манящие река и лес. Я думаю, и думаю с нежностью, о своих маленьких товарищах, кое-кто из которых позже попал в тюрьму. Несмотря ни на что, это была настоящая жизнь. Можно даже сказать – чудесная. Это был первый «рай», который я познал, там, в старом квартале. И хотя он ушел в небытие, он по-прежнему живет в моей памяти.

Но *сейчас*, сейчас, когда я смотрю на своих детей, играющих перед нашим домом, когда вижу их силуэты, выделяющиеся на фоне синего Тихого океана в белых барашках, когда вглядываюсь в огромных, грозных канюков, лениво парящих в вышине, описывающих круги, камнем падающих вниз и вновь кружащих, вечно кружащих в небе, когда смотрю, как тихо покачивается ива, как клонятся долу ее длинные тонкие ветви, еще более юные и нежные, чем мои малыши, когда слышу лягушек, квакающих в пруду, или птиц, поющих в кустах, когда, резко обернувшись, замечая, как наливаются спелым соком лимон на низкорослом деревце или распускается камелия, я вижу детей и вечное место действия. Они даже не *мои* только дети, но просто дети, дети Земли... и я знаю, они никогда не забудут, никогда не отрекутся от места, где родились и выросли. Я представляю, как они возвращаются из дальних краев, чтобы взглянуть на старый свой дом. Глаза мои увлажняются, когда я смотрю, как они с любовью и благоговением идут, окруженные роем золотых воспоминаний. Заметили ли они, спрашиваю я себя, то дерево, которое хотели помочь мне посадить, но забыли, заигравшись? Заглянут ли в маленькую пристройку, которую мы соорудили для них, и станут ли удивляться, как они только могли уместиться в такой комнатухе? Остановятся ли у окна моей крохотной мастерской, где я просиживал целыми днями, и постучат ли снова по раме, зовя поиграть с ними, – *или*

мне надо еще немного поработать? Отыщут ли мелкие камушки, которые я собирал по саду и прятал подальше, чтобы они их не проглотили? Постоят ли, погрузившись в грезы, на лесной поляне, где неумолчно лепечет ручеек, и станут ли искать игрушечную посуду, в которой мы понарошку готовили завтрак перед тем, как нырнуть в лес? Взберутся ли по козьей тропке на гору, чтобы с удивлением и страхом посмотреть на дом старого Троттера, шатающийся под порывами ветра? Помчатся ли к Россам, хотя бы только в воспоминании, чтобы узнать, удалось ли Хэрридику починить сломанный меч или не даст ли нам Шэнаголден банку варенья?

За каждое чудесное событие моего золотого детства они должны получить дюжину несравненно более чудесных. Ибо у них были не только их маленькие друзья, их игры, их таинственные приключения, как у меня, но еще и чистейшая лазурь небес и густой туман, пробивающийся по каньонам на невидимых лапах, изумрудно-зеленые холмы зимой, а летом – уходящие за горизонт горы из чистого золота. Они получили даже больше, ибо была еще почти непроницаемая тишина леса, сверкающая беспредельность Тихого океана, солнечные дни, и звездные ночи, и: «Ой, папочка, иди скорей, посмотри, в луже Луна!». И хотя восхищаются им соседи, олух тот отец, который предпочитает убивать время, играя с ними, вместо того чтобы упражнять мозги или постараться самому быть добрым соседом. Счастлив отец, который всего лишь писатель, который способен оторваться от работы и с радостью вернуться в детство! Счастлив отец, которого с рассвета до заката теребят двое здоровых, неутомонных малышей! Счастлив отец, который учится вновь смотреть на мир глазами своих детей, даже если превращается при этом в последнего глупца!

* * *

«Братья и Сестры из братства Свободного Духа называли благочестивую жизнь своей общины „Раем“, и в их толковании это слово означало квинтэссенцию любви».⁶

Разглядывая на днях фрагмент «Тысячелетнего царства» (кисти Иеронима Босха), я обратил внимание нашего соседа, Джека Моргенрата (выходца из Уильямсберга, Бруклин), на то, как до галлюцинации реальны апельсины на деревьях. Как он считает, спросил я, почему кажется, что в этих апельсинах, таких сверхъестественно реальных, есть нечто такое, чего нет в апельсинах на картинах других художников, например Сезанна (который больше известен своими яблоками) или даже Ван Гога? Для Джека все было просто. (Для него, кстати, все всегда очень просто. Тем, среди прочего, он и покоряет.) Джек ответил: «Дело в ауре». И он прав, абсолютно прав. Звери на этом самом триптихе также полны таинственности, также до галлюцинации живы в своей сверхреальности. Верблюд всегда верблюд, а леопард – леопард, и вместе с тем они отличаются от прочих верблюдов, прочих леопардов. О них даже не скажешь, что это верблюды и леопарды, созданные Иеронимом Босхом, хотя он и был волшебник. Они из других времен, времен, когда человек был одно со всякой живою тварью... когда лев и агнец лежали вместе.

Босх принадлежит к тем, очень немногим, художникам, – он, конечно, был больше чем художник! – которые обладали волшебным даром прозревать суть вещей. Он видел чувственный мир насквозь, делал его явным и таким образом открывал ею первоначальный облик.⁷

⁶ Вильгельм Френгер. Тысячелетнее царство по Иерониму Босху. Чикаго: Издательство Чикагского университета, 1951. С. 104. – *Примеч. Г. Миллера.*

⁷ «Человеческое сознание окутало чувственный мир, с которым находится в конфронтации, сетью логических связей и практических уловок; и, таким образом, достигнув интеллектуального и физического господства над миром, оно оказалось бесконечно далеко от мира сотворенного, в котором некогда занимало совершенно естественное место. Именно в этом естественном мире братство Свободного Духа видело смысл жизни» (Вильгельм Френгер. Тысячелетнее царство по Иерониму Босху. С. 152. – *Цитата Г. Миллера.*)

Увиденный его глазами, мир вновь предстает перед нами как мир вечного порядка, красоты, гармонии, и от нас зависит, примем мы этот рай или превратим его в чистилище.

Завораживает и порой ужасает то, что мир может быть столь разным для столь разных людей. Что он может предстать перед нами, и предстает, одновременно в таком множестве обликов.

Говорить о «Тысячелетнем царстве» меня заставляет то, что бесчисленные посетители со всех концов света постоянно напоминают мне, что я живу в сущем раю. («И как только вам удалось отыскать такое место?» – обычно восклицают они. Будто это моя заслуга!) Однако меня поражает, и в этом суть, что лишь единицам приходит при отъезде мысль, что они тоже могли бы пользоваться плодами райской жизни. Почти каждый из них неизменно сетует, что ему недостает мужества – хотя помечтать он не прочь – бросить все и остаться. «Вы счастливчик, – скажет он, имея в виду, что я писатель. – Вы можете делать свою работу где угодно». Он забывает, что я говорил ему, и не без умысла, о других членах нашей общины – вовсе не писателях, художниках или артистах, разве что в душе, но на ком здесь все стоит. «Слишком поздно», – может, пробормочет он, бросая напоследок тоскующий взгляд на окрестности.

До чего это характерно – подобная позиция – для удручающего смирения, губящего мужчин и женщин! Каждый, несомненно, в какой-то момент понимает, что может выбрать для себя иную жизнь, куда лучшую, чем его нынешнее существование. Что останавливает его, так это, как правило, боязнь чем-то пожертвовать. (Даже расставание со своими цепями кажется жертвой.) Хотя каждый знает, что без жертв ничего невозможно добиться.

Мечта о рае, на земле ли, в ином ли мире, почти умерла. *Idée-force*⁸ оборачивается *idée fixe*.⁹ Действенный миф выродился в табу. Люди жертвуют жизнью ради лучшего мира – что бы под этим ни подразумевалось, – но не сделают и шага к раю. Не приложат они и усилий, чтобы сотворить пусть какое-то подобие рая в том аду, в котором живут. Куда как легче – и кровавей – устроить революцию, что означает попросту установление иного, очередного, статус-кво. Если рай осуществим – классический ответ! – это уже не рай.

Что можно сказать человеку, который упорно строит для себя тюрьму?

Существует тип людей, которые, обрета то, что они считают раем, принимают искать в нем недостатки. Через некоторое время рай подобных людей становится хуже ада, из которого они бежали.

Конечно, рай, каким бы и где бы он ни был, имеет недостатки. (Райские недостатки, если хотите.) Если б их у него не было, он не притягивал бы к себе сердца людей *или* ангелов.

У души несчетно очей, твердят нам. И лишь очам души может быть явлен рай. Если в вашем раю есть недостатки, раскройте больше очей! Способность к видению – это целиком творческий дар; он пользуется телом и душой, как мореход – навигационными приборами. Раскройте и будьте наготове, не так уж важно, найдете ли вы якобы кратчайший путь в Индию – или новый мир. Все что ни есть взывает к вам, чтобы его нашли, – не по воле случая, но интуитивно. Когда прислушиваешься к тому, что подсказывает интуиция, цель поисков никогда не оказывается вне достижимых времени или пространства, она всегда присутствует здесь и сейчас. Если мы постоянно прибываем и отбываем, истинно также то, что мы стоим на вечном якорю. Цель наших поисков – не новое место, но скорее новый взгляд на вещи. Иными словами, видение ничем не ограничено. Подобным же образом ничем не ограничен и рай. Любой рай, достойный так называться, может иметь все ошибки творения и при этом оставаться прекрасным, безупречным.

Хотя предмет, который я затронул, мы в нашей общине, должен это признать, обсуждаем не часто, я тем не менее уверен, что втайне он занимает умы многих ее членов.

⁸ Плодотворная идея (фр.).

⁹ Навязчивая идея (фр.).

Все, кто приехал сюда в поисках новой жизни, совершили тем самым поступок, круто изменивший их судьбу. Почти все прибыли издалека, обычно из крупных городов. А это значит, что они бросили работу и прежнюю жизнь, однообразную, невыносимую. В какой степени они обрели «новую жизнь», можно будет судить только по тому, какие усилия он или она будут прилагать, чтобы обустроиться здесь. Подозреваю, что кое-кто обрел бы «ее», даже оставшись на прежнем месте.

Самое важное из того, чему я был свидетелем с тех пор, как поселился здесь, – это то, как менялись люди. Нигде я не видел, чтобы люди с таким упорством работали над собой. И столь успешно. Однако здесь ничего не преподается и не проповедуется, по крайней мере чрезмерно настойчиво. Кое-кто старался, и у него не получилось. И, должен сказать, к счастью для всех остальных. Но даже те, у кого ничего не вышло, кое-что приобрели. Прежде всего, сам их взгляд на жизнь изменился, стал более широким, если не «более верным». А что может быть лучше, чем учителю стать собственным учеником, а проповеднику – собственным новообращенным?

В раю не проповедуют и не учат. Живут полной жизнью – или возвращаются туда, откуда пришли.

Похоже, в этом краю действует неписанный закон: ты принимаешь и любишь то, что нашел здесь, извлекаешь из этого пользу – или должен уйти. Никто никого не гонит, поймите это, пожалуйста. Нет, само место, сама природа отторгают тебя. Как я сказал, таков закон. И это справедливый закон, от которого никому никакого вреда. Цинику это может показаться триумфом все того же нашего славного статус-кво. Но человек, влюбленный в эти места, совершенно точно знает, что не существует такого статус-кво, которое подходило бы для рая.

Нет, закон работает потому, что то, что хорошо для рая, отторгает то, что хорошо для ада. Сколько раз говорилось, что мы сами творим свое небо и свой ад. И как редко это принимается сердцем! Но истина торжествует, признаем мы ее или нет.

Рай или не рай, но у меня сложилось вполне определенное впечатление, что народ в нашей округе старается соответствовать величию и благородству, которые в высшей степени свойственны этим местам. Люди ведут себя так, словно жить здесь – привилегия, словно им было милостиво дано найти здесь себя. Само это место настолько грандиозней, величественней всего, что может надеяться создать любой человек, что оно вызывает у него чувство смирения и почтения, какие не часто встретишь в американцах. В этой природе нечего совершенствовать, наоборот, возникает желание совершенствоваться самому.

Не подлежит сомнению, что в ужасных, нечеловеческих условиях – в тюрьмах, гетто, концлагерях и так далее – люди чрезвычайно меняются, становятся проницательней. Но лишь единицы предпочитают *оставаться* в подобных местах. Тот, кто видит свет, следует за светом. И свет обычно приводит его туда, где он может проявить себя с наибольшей полнотой, то есть где от него будет наибольшая польза окружающим. В этом смысле совсем не важно, будут то дебри Африки или же вершины Гималаев. Как говорится, Бог всюду.

Всем нам приходилось встречать солдата, побывавшего в дальних краях. И все мы знаем, что у каждого солдата есть своя история, которую он рассказывает. Мы как те возвратившиеся солдаты. Где-то побывали, в духовном смысле, и пережитое обогатило нас или же сломало. Кто-то говорит: «Чтобы это повторилось – никогда!» Кто-то: «Пусть! Я ко всему готов!» Только глупец ожидает повторения однажды пережитого; умудренный знает, что ко *всякому* опыту следует относиться как к дару свыше. Все, что мы стараемся отрицать или отвергать, насущно нам необходимо; именно она, эта насущная необходимость, часто парализует нас, не позволяя шагнуть навстречу (полезному или горькому) опыту.

Я опять возвращаюсь к тем, кто приехал сюда, испытывая в том необходимость, и какое-то время спустя бежал, потому что «это» оказалось не тем, что он надеялся найти, или потому, что «они» оказались не теми, кем себя считали. Ни один из них, сколько я знаю, так и не нашел

ни того, что искал, ни себя. Некоторые вернулись к прежним хозяевам, как рабы, не способные принять права и обязанности свободного человека. Другие попали в сумасшедший дом. Кто-то превратился в изгоя. Кто-то просто примирился с мертвящим статус-кво.

Я говорю о них так, словно они отмечены позорным клеймом. В мои намерения не входит быть жестоким или мстительным. Я просто хочу сказать, что, по моему скромному мнению, ни один из них ни на йоту не стал счастливее, лучше, ни в чем не продвинулся вперед. Они будут вспоминать о своем биг-сурском приключении всю оставшуюся жизнь – с тоской, сожалением или восторгом, смотря по обстоятельствам. Некоторые, знаю, таят в душе надежду, что их дети проявят большую смелость, большее упорство, большую целеустремленность, нежели они. Но разве они что-то не просмотрели? Разве их дети, как плод откровенной неудачи, уже не обречены? И не заражены ли они уже вирусом «осмотрительности»?

* * *

Несомненно, труднее всего привыкнуть к состоянию блаженного покоя. Пока есть за что бороться, люди готовы храбро встретить любые трудности. Лишите их элемента борьбы, и они будут задыхаться, как рыба, выброшенная на берег. Те, у кого не осталось своих забот, часто доходят до того, что взваливают на себя тяготы мира. Дело тут не в идеализме, а в том, что им необходимо иметь какое-то дело или хоть что-то, о чем можно было бы поговорить. Будь эти пустые души по-настоящему озабочены положением сограждан, они сгорели бы на костре общественного служения. Человеку достаточно едва переступить порог своего жилища, чтобы перед ним открылось поле деятельности столь обширное, что не по силам и исполину или, лучше сказать, святому.

Понятно, что чем больше человек озабочен всеобщим неустройством, тем менее он может наслаждаться собственными душевным покоем и свободой. Окажись мы в царстве небесном, даже оно может показаться нам двусмысленным и подозрительным.

Кое-кто скажет, что он не желает *проспать* свою жизнь. Будто сама наша жизнь не есть сон, очень реальный сон, от которого невозможно пробудиться! Мы переходим из одной фазы сна в другую: от сна о сне ко сну о пробуждении, от сна о жизни ко сну о смерти. Тот, кто наслаждается дивным сном, никогда не жалуется на потерю времени. Напротив, он счастлив пребывать в реальности, назначение которой возвышать и делать ярче реальность повседневности.

Как я сказал, апельсины босховского «Тысячелетнего царства» источают эту волшебную, постоянно ускользающую от нас реальность, которая есть самая суть жизни. Они куда восхитительней, куда полезней наших калифорнийских апельсинов, которые мы ежедневно поедаем в наивной вере, что они напичканы чудодейственными витаминами. Апельсины тысячелетнего царства, сотворенные Босхом, возрождают душу; аура места, где он их подвесил, – это вечная аура материализовавшегося духа.

Каждое живое существо, каждая вещь, каждое место обладают собственной аурой. Сам наш мир обладает аурой, коя неповторима. Но миры, вещи, живые существа, места – все имеет нечто общее: они пребывают в состоянии вечного превращения. Величайшее блаженство сна – в его преобразующей силе. Когда личность становится, так сказать, текучей, что столь восхитительно происходит с нею во сне, и само естество человека претерпевает алхимическое превращение, когда форма и суть, время и пространство становятся пластичными и гибкими, податливыми и покорными малейшему его желанию, человек, пробуждающийся ото сна, совершенно точно знает, что бессмертная душа, которую он называет своей, есть не что иное, как носитель этого вечного элемента превращения.

В бодрствовании, когда все хорошо, когда отступают заботы и тревожные мысли и мы погружаемся в грезы, не отдаемся ли мы с блаженством вечному потоку, не плывем ли в экс-

тазе по спокойным волнам жизни? Всем нам доводится переживать моменты полного забвения, когда мы ощущаем себя растением, животным, рыбой морской или птицей небесной. Некоторые даже уносятся во времена, когда мы были как боги. Едва ли не у всякого случался *однажды* в жизни миг, когда он ощущал такую полноту, такую гармонию бытия, что готов был воскликнуть: «*В такой бы миг и умереть!*» Что стоит за этим, что таится в самой сердцевине эйфории? Понимание, что это мгновение не продлится, не может продлиться? Ощущение предела? Возможно. Но я думаю, что дело тут в чем-то ином, более глубоком. Я думаю, в такие мгновенья мы пытаемся сказать себе то, что давно знаем, но отказываемся принять: что жизнь и смерть едины, и не имеет значения, проживем мы один день или тысячу лет.

Конфуций сказал об этом так: «Если человек видит Истину утром, вечером он может без сожаления умереть».

* * *

Поначалу Биг-Сур казался мне идеальным местом для работы. Сегодня, хотя я с удовольствием пишу, когда могу, я смотрю на это иными глазами. Для меня все менее и менее важно, работаю я или нет. Здесь я пережил одни из самых горьких минут в жизни – и одни из самых прекрасных. Я пришел к убеждению, что всякий опыт, радостный или печальный, ценен и благотворен. А прежде всего, поучителен.

В эти десять лет я разговаривал не с одной сотней людей самых разных профессий и разного положения, навещавших меня. Большинство, как мне кажется, приезжали для того, чтобы облегчить душу. Иногда мне удавалось переложить обратно на человека его проблемы – и взвалить новые, еще более тяжкие и неразрешимые.

Многие приходят не с пустыми руками, а несут всяческие подарки, от денег до книг, еды, выпивки, одежды и даже почтовых марок. В ответ я могу подарить им только себя. Но не это важно. Замечательно то, что, хотя номинально я отрезан от остального мира, мир ближе к моему порогу, чем если бы я был в гуще событий. Я не испытываю необходимости ни читать газеты, ни слушать новости по радио. Все, что мне нужно знать о том, что происходит «там», мне сообщают, отсеяв шелуху, люди.

А «там» почти ничего не меняется! Какой смысл таскаться по свету? «*Оставайся на месте и смотри, как земля вертится!*» Вот что я частенько повторяю себе.

Тут, чувствую, придется коснуться одной вещи, хотя и сугубо личной, но, пожалуй, интересной «всем без исключения». Поскольку я, как писатель, имею какую-то известность – может, *сомнительную*, – то среди тех, кто приезжает ко мне, много молодых или начинающих авторов. Когда я узнаю, что именно подвигло их выбрать профессию писателя, то поневоле задаю себе убийственный вопрос. Чем же, спрашиваю я себя, ты отличаешься от этих желторотых юнцов? Какую такую мудрость приобрел, выпуская одну книгу за другой, которых нет у них? И почему ты должен ободрять их, когда тебя самого одолевают сомнения, а они лишь приумножают их?

Поясню... Все эти молодые люди (и молодые женщины) жаждут, как я когда-то, одного, и только одного – писать о чем хочется и как хочется и чтобы их читало как можно больше людей. Они хотят самовыражаться, объясняют они. Очень хорошо. («И что же вам мешает?» – мысленно спрашиваю я.) А когда они выразят себя, они хотят, чтобы их превозносили и славили. *Ну разумеется*. («Кто против?») А когда они будут признанными и прославленными, они хотят наслаждаться плодами своих трудов. («Очень по-человечески, очень».) Но... один, крайне важный, вопрос: какими вы, мои дорогие юные энтузиасты, вообще представляете себе «плоды трудов»? Вы когда-нибудь слышали о «горьком плоде»? Разве не знаете, что признание, или «успех», если вам угодно так это называть, сопровождается всеми человеческими пороками? Понимаете ли вы, что, достигнув цели, не сможете, вам никогда не позволят, вкусить

плодов этого успеха, как вы мечтаете? Вы, конечно, представляете себя в уютном и покойном загородном доме в окружении любящей жены, которая вас понимает, и стайки счастливых, беззаботных детишек. Вам видится, что вы выдаете шедевр за шедевром, живя в своем мирке, где все работает как часы.

Как вы заблуждаетесь! Через какие только муки не придется вам пройти! Дайте нам величайшие откровения, потрясите мир до основания – но не надейтесь избежать своей Голгофы! Едва выпустите вы свои творенья в свет, будьте уверены, их немедленно обернут против вас. Вы будете исключением, если вас не осадит толпа чудовищ, которых вы сами и породили. И не сомневайтесь, придет день, когда вам покажется, что еще ни одна возвышающаяся мысль не оставила следа в мире. Вы станете ужасаться и недоумевать, когда увидите, каким провалом все обернулось, сколь превратно понимают вас и ваших героев. Мир, который вы невольно создали, заявит свои права, видя в вас не своего владыку или верховного судию, но свою жертву.

Нет, я не могу заранее говорить подобные вещи, потому что вы никогда бы мне не поверили, иначе, услышав такое напутствие, не возьмешься за перо. И не надо мне верить! Слушая вас, видя ваши горящие глаза, я сам почти готов поверить в то, что я не прав. И я, конечно, не прав, наставляя вас таким образом, поскольку одно бесспорно: не имеет значения, в какую игру ты ввязался, стоит все же довести ее до конца. Но только вот сможете ли вы заставить себя считать вашу высокую миссию «игрой»?

Есть еще одно, о чем надо бы знать... Когда вы выразите себя до конца, тогда, и только тогда вы осознаете, что все на свете уже выражено, не одними только словами, но и делом, и единственное, что вам, в сущности, остается, – это сказать: *аминь!*

* * *

Здесь, в Биг-Суре, я научился говорить *аминь!* И здесь же я впервые задумался над поучительными словами Селина, с ощущением, что это не просто мистификация, а нечто большее: «Сцал я на вас с высокой башни!» И здесь, в глуши, так сказать, я обнаружил – *mirabile dictu!*¹⁰ – что трое из моих соседей читали «*Arabia Deserta*». ¹¹ Опять же здесь у меня несколько месяцев гостил человек, который расстался с саном священника, чтобы вести жизнь, подобную Христовой. Только здесь мне довелось видеть, как люди полностью меняли свои взгляды и жизнь. И здесь, чаще, чем где-либо еще, я слышал самые нелепые, самые мудрые слова.

Оставайся на месте и смотри, как земля вертится!

Знаю, есть люди, которые сетуют на то, что Биг-Сур, мол, не слишком побуждает к творчеству. У меня же, напротив, такое ощущение, что побуждает, и даже слишком. Людям, чувствующим живо и остро, нет надобности и за порог выходить. Для такого человека есть его мир, непосредственно его окружающий, мир столь же огромный и богатый, столь же захватывающий и содержательный, как тот, какой Торо нашел в Уолдене.

Должен признаться, что, любя мир – все страны и континенты, – я также люблю свой дом, первый настоящий дом, который у меня появился. Что и говорить, те, кто ценит «дом», – это вечные бродяги, изгнанники. Если я когда-нибудь отважусь снова выбраться в мир, то, верю, теперь я смогу предъявить и нечто вроде корней, а не только цветы. Предъявить хотя бы то, чему научил меня Биг-Сур, – это уже немало. Я говорю Биг-Сур, а не Америка. Ибо, хотя Биг-Сур и часть Америки, подлинной Америки, все же главная его особенность не вмещается в то понятие, которое выражается словом «Америка». Если бы мне пришлось отметить особенность американского характера, которая проявляется здесь особенно ярко, я назвал бы

¹⁰ Странное дело (*лат.*).

¹¹ «Аравийская пустыня» (*лат.*).

сердечность. Здесь, на тихоокеанском побережье, вошло в обычай, поднимая стакан, провозглашать: «За доброту!» Нигде я не слышал, чтобы произносили такой тост. И когда Хэрридик Росс, ближайший мой сосед, говорит: «За доброту!» – он имеет в виду именно человеческую доброту, и ничто другое.

Люди, читающие мои необычные автобиографические романы, часто спрашивают, как мне все-таки удалось выжить в черные времена нужды и голодухи. Я, разумеется, уже объяснил, причем в тех самых книгах, что в последний момент мне всегда кто-нибудь приходил на помощь. Любому человеку, положившему для себя во что бы то ни стало достичь поставленной цели, необходимо иметь друзей, которые его поддерживают. Разве мог когда-нибудь человек чего-то добиться в одиночку? Поразительно, однако, что помощь, когда она приходит, всегда приходит не оттуда, откуда ее ждешь, – откуда она вроде бы *должна*, как мы надеемся, прийти.

Нет, мы никогда не остаемся одни. Но, чтобы понять эту истину, нужно пожить в одиночестве.

Впервые я узнал одиночество – и полюбил его, – когда был на острове Корфу. Во второй раз это произошло здесь, в Биг-Суре, несмотря на все мои слова о том, что почти *никогда* не удается остаться одному.

Оказаться в одиночестве, если только это на несколько минут, и всем существом ощутить его – блаженство, молить о котором нам редко приходит в голову. Обитатель большого города мечтает о деревне как о бегстве от всего того, что отравляет и делает невыносимой его жизнь. Чего он, однако, не в состоянии понять, так это того, что можно быть более одиноким, если захочешь, среди десятиллионной толпы, чем в крохотной общине. Одиночество – духовный подвиг. Человек, бегущий из города в поисках уединения, может, к своей досаде, обнаружить, особенно если все желания, порождаемые городской жизнью, остались при нем, что он приобрел единственно чувство пустоты. «Одиночество – удел диких зверей и богов», – сказал кто-то. И это истинно так.

Только в подлинном одиночестве жизнь открывается нам во всей своей полноте и богатстве. Для того, кто живет просто, все обретает неведомую прежде значимость. Когда мы остаемся наедине с собой, самая ничтожная былинка занимает достойное место во Вселенной. Да что говорить – даже навозная куча. Жизнь, как говорится, прекрасна гармонией с миром. Нет ничтожных вещей, все они важны, и все люди замечательны. Низ и верх становятся равноценны. Наше драгоценное «я» растворяется в океане бытия. Тогда и падальщик больше не кажется омерзительным, его уже не просто терпят потому, что он выполняет роль санитара природы. И камни в поле уже не просто неодушевленные предметы или вещь, пригодная для будущих стен или опор. Даже если это длится лишь несколько мгновений, возможность взглянуть на мир как на спектакль бесконечной жизни, а не как на скопище отдельных людей и назначенных им в услужение тварей живых и вещей никогда не забудется. Идеальное общество, в известном смысле, должно быть свободным, изменчивым собранием личностей, которые избрали для себя одиночество и обособленность для того, чтобы быть в согласии с собой и со всем, что живет и дышит. И Бог будет во всех делах этого общества, даже если никто из его членов не верует в (какого-нибудь) бога. Это будет рай, хотя само это слово давно исчезло из нашего словаря.

Во всех тех городах и странах, где я мечтал когда-нибудь побывать, подобных обществ, конечно, нет. Даже в самых святых местах человеку свойственны глупость, фанатизм, идолопоклонство. Я уже говорил, сегодня мы находим лишь отдельных людей – приверженцев «правильной жизни». Тем не менее эти редкие индивиды закладывают основу общества, которое в один прекрасный день заменит существующие – разобщенные, раздираемые враждой, недостойные и называться обществом. Мир стремится к тому, чтобы стать единым целым, сколь бы ни сопротивлялись части, его составляющие. Больше того, чем сопротивление сильнее, тем определенной финал. Мы сопротивляемся только неизбежному.

* * *

Я говорил о Биг-Суре так, будто он находится на отшибе и мало или совсем не связан с миром. На деле все обстоит совершенно иначе. Я немало поездил по стране и по свету, но нигде не встречал людей, более чутко реагирующих на происходящее в мире и более информированных. Редко когда небольшое, как наше, сообщество может похвастаться таким множеством бывалых путешественников. Я не перестаю изумляться, когда слышу, что вот тот только что вернулся из Сиамы, другой – из Японии, Турции или Греции, третий – из Индии или Перу, четвертый – из Гватемалы, с Юкатана или островов Полинезии. Некоторые мои соседи долгое время жили в самых глухих уголках земли. Кое-кто – среди индейцев или индусов, а кто-то – в примитивных племенах где-нибудь в Африке, Японии, Индии, Малайзии.

Похоже, что едва ли не каждый из них – специалист в той или иной области: живописи, археологии, лингвистике, символизме, дианетике, дзен-буддизме или ирландском фольклоре. Люди, подобные Россу или Толертону, упоминая лишь ближайших соседей, обладают самыми разнообразными практическими знаниями, не говоря уже о земной и небесной мудрости, – с чем трудно примириться любому сообществу. Другие, вроде Троттеров, которых все по привычке зовут ребятами, в ежедневной своей работе демонстрируют чудеса физической силы, какие посрамили бы прославленных «богатырей». Почти все женщины замечательно готовят, а зачастую и мужчины. Мужчины, через одного, знают толк в виноделии, и едва ли не каждый – прекрасный отец, способный заменить лучшую из матерей в ее обязанностях.

Не могу удержаться, чтобы не повторить: никогда не доводилось мне видеть общину, в которой было бы столько талантливых, способных людей, изобретательных, самостоятельных. Даже тот мошенник, что поселился высоко в горах и притворяется закоренелым лодырем, «настоящим сукиным сыном», как он ласково именует себя, и тот умеет жить в мире с собой и способен, когда захочет, быть удивительно нежным, приятным, отзывчивым человеком, одним из тех счастливых «неудачников», кто все изведal и в ком – пошли ему Бог здоровья! – не осталось почтения ни к храму, ни к тюрьме, кто ученого уважает не больше, чем бродягу, и о судье не лучшего мнения, чем о преступнике, за чей счет судья кормится и одевается.

И где еще в этой дражайшей стране найдешь соседа, способного неожиданно заявиться к тебе, чтобы узнать, не нужно ли в чем подсобить? То есть что-нибудь починить, подлатать, подправить? А если вдруг что-то случается, на расстоянии крика живет полдюжины крепких ангелов-спасителей, готовых все бросить и поспешить на помощь. И ни разу не было такого, а, должен сказать, я попадал в ситуации весьма нетривиальные, чтобы эти добровольцы не справились с делом. Отсюда мораль: чем меньше людское сообщество, тем лучше!

Тем не менее остается непреложным такой вот факт: чтобы здесь закрепиться, от человека требуется все, на что он способен. Можно быть толковым, дельным, решительным, энергичным и все же не выдержать испытания, которому этот край постоянно тебя подвергает. Все обрушивается на тебя вперемешку: панорама земли и моря, стремительные реки, леса, перелетные птицы, сорняки, москиты, гремучие змеи, суслики, ухвертки, неудачники, бродяги, закаты, радуги, тысячелистник, алтей и выюнок, этот кровосос растительного мира. Даже горы прельщают и гипнотизируют. И где еще на этой земле увидишь высокую стену тумана, наползающую от пальмовой рощи, а за нею сизые гребни гор и закатное солнце, как «красные белки и молния»?

Все это настолько маняще, настолько захватывающе, настолько безупречно, что поначалу ты словно оглушен и не испытываешь никакого душевного волнения. Неизбежное первое опьянение таково, что не снилось и алкоголику. Затем следует период начального обустройства, обычно сопровождающийся легкой хандрой – выкуп, который платишь за флирт с совершенством. Потом следует трудный период, когда внутренние сомнения мостят дорогу перебран-

кам и горизонт заволакивают тучи надвигающегося семейного конфликта. Когда наконец ударишься о дно, говоришь себе (каждый говорил это по крайней мере однажды!): «Биг-Сур? Да ничем он не отличается от любого другого места!» Говоря так, озвучиваешь глубокую истину, поскольку место – это всего лишь то, что мы создаем из него, что привносим своего, точно так же, как это происходит с другом, любовницей, женой, домашней зверюшкой или любимым занятием.

Да, Биг-Сур может быть осуществленной мечтой – или полным поражением. Если что-то не по вкусу в картине, посмотри на себя в зеркало. Единственное отличие Биг-Сура от другого «идеального» места состоит в том, что здесь это бьет вас мгновенно, и бьет крепко. Как говорится, промеж глаз. Результат таков, что вы или вступаете в схватку с собой, или обращаетесь в бегство и ищите иное место, где можно тешить свои иллюзии. Вот и скитается человечество – и кому какое дело, что вы можете *никогда* не встретить себя?

Биг-Сур не Мекка, не Лурд и даже не Лхаса. Он и не Клондайк для неизлечимого идеалиста. Если вы художник и думаете вторгнуться сюда, будет разумным сперва обзавестись покровителем, поскольку художник не может жить за счет другого художника, а здешний народ, похоже, через одного художники в том или ином роде. Даже водопроводчики.

Что своего может принести с собой человек, что имело бы ценность для общины? Всего лишь обыкновенное, скромное желание делать все, что необходимо, и так, как он это умеет. Коротко говоря, пару умелых рук, стойкость и свидетельство о прививке против разочарованности. Если это мозги, приносите мозги, но не мусор, которого в них обычно предостаточно. Мозгов здесь и так хватает. А если вы больше ничего с собой не принесете, прихватите чувство юмора, потому что если в других местах вы обходились без него, то здесь оно вам пригодится. Если верите в медицину, берите с собой вашу аптечку, потому что здесь нет докторов, кроме тех, у кого ученая степень доктора. И не берите с собой никакого домашнего зверья, если не готовы постоянно ездить к ветеринару, потому что по причинам пока неизвестным наши любимцы болеют здесь всеми человеческими болезнями вдобавок к своим.

Что до Партингтон-Риджа, откуда я шлю это послание, то тут по-прежнему нет ни телеграфа, ни телефона, ни канализации, ни вывозки мусора. Чтобы избавиться от пустых бутылок, консервных банок и прочих отходов, нужно иметь машину и везти все это довольно далеко на отведенное для свалки место или вызывать из Миссури соответствующую службу Хауарда Уэлча.

До сих пор Биг-Сур обходился тем, что можно принести в руках. Чего, наверно, ему недостает для пущей известности, так это борделя, тюрьмы и позолоченного электрического стула. Было бы замечательно, имей мы здесь еще еврейскую гастрономическую лавку, но это, пожалуй, чересчур, нельзя желать всего сразу.

И в довершение хотел бы привести слова другого Генри Миллера, лучше известного в здешних краях, нежели ваш покорный слуга. Речь идет о скотопромышленнике Генри Миллере, человеку, который когда-то владел столь обширными землями, что по ним можно было пройти от мексиканской границы до Канады, ни разу не ступив на чужую территорию. Итак, вот что он однажды сказал: «Если человек вынужден просить подаяния, подайте ему и заслужите его благодарность. Не заставляйте отрабатывать милостыню и не заслужите его ненависти».

Часть вторая

Покой и уединение: попури

1. Культ секса и анархии

Я слег с простудой, и тогда это и случилось – кровь хлынула сердцем. Всякий раз, как я забираюсь в постель (среди бела дня) – таков мой способ лечиться от простуды, геморроя, меланхолии или иного какого недуга, настоящего или мнимого, – я ставлю рядом с кроватью маленькую скамеечку, на которой раскладываю сигареты, пепельницу и всяческое чтение. Просто на тот случай, если...

Восхитительно понежившись часок-другой, я взял со скамеечки «Нувель ревью франсез», что прислал мне Джеральд Робитейл. Номер был посвящен Шарлю-Альберу Сингриа, умершему несколько месяцев назад. В своем письме Джеральд спрашивал, слышал ли я когда-нибудь о Сингриа. Разумеется, слышал. Так случилось, что я встретил Сингриа, в первый и единственный раз, в доме Бравига Имбса в Париже. Весь день и вечер я, к моему большому счастью, провел в обществе Сингриа. И те несколько коротких часов запомнились мне навсегда.

О чем я не знал, пока не раскрыл газету, так это о том, что, когда мы встретились, Сингриа переживал один из худших периодов своей жизни. Кто бы мог предположить, что этот человек, напоминавший клоуна или расстригу-священника, этот человек, который много говорил, шутил и пил – дело было в канун Нового года, и мы опустошили не один кувшин грога, – кто, повторяю, мог бы подумать, что этот человек, расставшись с нами, возвратится в свою жалкую нору, где соседи прячут хлебные корки под бюро или комоды и отчетливо слышны звуки, издаваемые ими в клозете.¹²

Я читал проникновенные слова, посвященные памяти Сингриа, думая, каким замечательным человеком он был, какую фантастическую жизнь прожил, какие дивные вещи написал, и тут голова моя закружилась. Сердце мое облилось кровью, я отбросил газету, не в силах читать дальше. Как пьяный корабль, швыряло меня, и захлестывали волны памяти. Спустя какое-то время я поднялся, схватил тетрадь и лихорадочно принялся записывать скачущие мысли. Это продолжалось несколько часов. Я забыл, что простужен, забыл о времени.

Миновала полночь, когда я с трудом оторвался от тетради и погасил свет. Закрыв глаза, я сказал себе: «Пора тебе поведать о своей жизни в Биг-Суре».

Итак, я поведаю вам о ней – столь же хаотично, как она предстала передо мной недавно, когда я лежал с простудой...

Подозреваю, что многие из тех, кто читает мои книги или обсуждает мою жизнь, верят, что я живу в башне из слоновой кости. Если и так, то это башня без стен, в которой происходят небывалые и «анахроничные» вещи. Читая эту фантазию на тему жизни в Биг-Суре, следует держать в уме, что здесь вы не найдете причины и следствия, хронологической и любой иной последовательности – кроме той, что задана самой этой жизнью.

Вообразите, к примеру, день, тяжелый день, когда после того, как меня по меньшей мере полдюжины раз отрывали от дела, вдруг... так вот, после увлекательного разговора с писателем, который только что из Парижа (или Рима, или Афин), после еще одного разговора с остервеневшим типом, желающим знать каждую подробность моей жизни, прошлой и настоящей,

¹² См. отрывок из его дневника, процитированный Пьером Гегеном в «Нувель ревью франсез» от 1 марта 1955 года. Статья называется «Денди». – *Примеч. Г. Миллера.*

и который, как я обнаруживаю (слишком поздно), не читал ни одной моей книги, после того, как я гоню взащей троих студентов, стоящих на пороге и сконфуженно объясняющих, что они только хотят узнать мое мнение об Иове – да, Иове, ни больше ни меньше! – и они не шутят, нет, они, увы! слишком серьезны, после того да сего, когда я периодически пытаюсь продолжить работу с места, на котором меня прервали (на полуслове), заявляется неподражаемый Варда с букетом «*jeunes filles en fleur*».¹³ Заметив, что я необычно спокоен, и не понимая, что я просто без сил, он восклицает: «Послушай, я сказал этим девочкам, что ты потрясающий *raconteur*!»¹⁴ Выдай-ка им какой-нибудь случай из твоей „анекдотической жизни“!» (Выражение Цадкина.)

Странно, но в час ночи – на столе беспорядок: пустые стаканы, хлебные крошки, корки сыра, гости наконец ушли и вновь нас окутала тишина, – так вот, в час ночи во мне звучит строка из одной сандраровской книги, загадочная строка на его несравненном французском, потрясая меня несколько ночей назад. Никакой связи между этой строкой Сандрара и лавиной дневных событий. Мы, Варда и я, даже не упоминали имени Сандрара, что необычно, поскольку беседы с некоторыми из моих друзей – Варда, Герхартом Мюнхом, Джайлсом Хили, Эфраимом Доунером – начинаются с Сандрара и им же заканчиваются. И вот сижу я за пишущей машинкой, в голове вертится эта изящная, дразнящая строка, пытаюсь вспомнить, по какому поводу она пришла мне в голову, и не соображу, как закончить фразу, которую начал черт-те сколько часов назад. Я спрашиваю себя – что делал уже неоднократно, – каким образом этому невероятному человеку, Сандрару, удалось написать столько книг за такое короткое время (имею в виду период сразу после немецкой оккупации) при одной руке, левой, без секретаря, которому он мог бы диктовать, в холодной квартире, живя впроголодь, любимые сыновья погибли на войне, огромная его библиотека разграблена фрицами и так далее? Я представляю себе, или пытаюсь представить, его жизнь, его книги, его мысли, его чувства. День мой, хоть и был до отказа наполнен всяческими событиями, только начинается в океане его невероятного бытия...

«На днях» из Голландии приехала женщина, с которой я обменялся несколькими письмами. От меня только что ушла жена, и мы с маленькой дочуркой, Вэл, остались одни. Женщина успела побыть в комнате всего несколько минут, как я почувствовал, что между ними возникла мгновенная и обоюдная неприязнь. Извинившись перед посетительницей, я продолжил заниматься хозяйством – я решил вымыть пол и натереть его восковой мастикой – и был очень признателен ей, когда она предложила помыть посуду. Вэл тем временем больше, чем обычно, старалась усложнить мне жизнь; казалось, она получает особое удовольствие, встречая в наш разговор, и без того не слишком плавный из-за моих упражнений со шваброй. Потом она пошла в туалет – только для того, чтобы тут же сообщить, что вода не уходит. Я бросил швабру, помчался за мотыгой и принялся чистить снаружи забитый землей слив. Едва я взялся за работу, хлынул дождь. Я тем не менее продолжал махать мотыгой, хотя, должен признаться, моя гостья несколько раздражала меня тем, что то и дело выскакивала на улицу и с надрывом уговаривала все бросить и вернуться в дом. Наконец мне удалось просунуть руку в трубу, которая, как уже бывало не раз, оказалась забита переплетшимися корнями травы. Я вытащил пробку, и тут же хлынула вода – вместе со всем содержимым унитаза. Славный был у меня вид, когда я вернулся в дом, чтобы привести себя в порядок. От чистого пола, разумеется, осталось одно воспоминание, стол и кровать по-прежнему заняты перевернутыми стульями.

Моя гостья, которой я виделся всемирно известным писателем, человеком, живущим в уединении среди величественной природы, в дивном уголке под названием Биг-Сур, принялась ругать меня – а может, ей казалось, что она меня утешает, – за то, что я пытаюсь делать слишком много такого, что не имеет никакого отношения к моему творчеству. Все это звучало

¹³ Девушек в цвету (фр.).

¹⁴ Рассказчик (фр.).

настолько абсурдно, что, несколько опешив, я грубовато спросил, а кто, по ее мнению, должен делать грязную работу... *Господь Всевышний?* Она продолжала туманно рассуждать, на что, по ее мнению, мне не следовало бы тратить драгоценное время, подразумевая уборку, готовку, возню в огороде, заботу о ребенке, прочистку канализации и так далее и тому подобное. Я было окончательно вышел из себя, когда мне показалось, что послышался звук подъезжающей машины. Я распахнул дверь и, ну конечно же, увидел Варда, избегающего по ступенькам, а с ним неизменную свиту его приятелей и почитателей.

– Вот это неожиданность! Как поживаешь?

Рукопожатия. Дежурные восторги со всех сторон:

– Какое дивное место! (Даже в дождь.)

Голландская гостя оттащила меня в сторонку. С умоляющим видом прошептала:

– Что будем делать?

– Старайтесь казаться обрадованной, – ответил я и отвернулся.

Несколько минут спустя она опять дернула меня за рукав, чтобы простодушно поинтересоваться, не приготовлю ли я чего-нибудь, чтобы накормить всю ораву.

Опущу то, что происходило в следующие несколько часов, и передам слова, сказанные ею на прощанье:

– Я и представить не могла, что Биг-Сур окажется таким!

– Я тоже, – чуть слышно добавил я.

* * *

А потом появляется Ральф! Хотя на дворе разгар лета, он в толстом пальто и меховых перчатках. С книгой в руке он, как тибетский монах, не спеша прохаживается вдоль забора, взад и вперед, взад и вперед. Я настолько занят прополкой огорода, что не сразу замечаю его. Только когда я поднял голову, ища мотыгу, которую оставил прислоненной к забору, он попался мне на глаза. Поняв, что это человек не от мира сего, я решил попробовать схватить мотыгу и ускользнуть, так, чтобы он меня не засек. Я притворился, что не вижу его; он мог оказаться обидчивым и, оскорбившись, уйти. Но едва я сделал шаг к забору, это странное видение приблизилось и заговорило. Он говорил так тихо, что – некуда деваться – пришлось подойти ближе.

– Вы Генри Миллер? – спрашивает он.

Я кивнул, хотя первым побуждением было сказать «нет».

– Я пришел потому, что хочу поговорить с вами.

(«О господи, начинается!» – вздохнул я про себя.)

– Меня только что прогнали. Женщина, – горько или осуждающе, как мне показалось, добавил он. – Верно, ваша жена.

Я только хмыкнул.

Он уведомил меня, что он тоже писатель, что сбежал от всего (то есть от работы и семьи), чтобы жить, как ему хочется.

– Я пришел потому, что тоже хочу участвовать в культе секса и анархии, – сказал он негромко и без выражения, будто речь шла о кофе с гренком.

Я сказал, что такой колонии здесь нет.

– Но я читал о ней в газетах, – упрямо сказал он и потащил из кармана газету.

– Все это выдумки, – ответил я. – Не стоит верить всему, что пишут в газетах. – Я принужденно засмеялся.

Он, видимо, не поверил. Принялся объяснять, почему считает, что из него получился бы достойный член колонии – даже если таковой не существует (*Sic!*). Я оборвал его. Сказал, что мне нужно работать. Пусть он меня извинит.

Теперь он был оскорблен в своих чувствах. Последовал короткий обмен вопросами и ответами – довольно дерзкими вопросами, довольно едкими ответами, – который только привел его в еще большее волнение. Неожиданно он раскрыл книгу, что была у него с собой, и, торопливо пролистав, нашел нужное место. Затем принялся читать вслух.

Это был отрывок из «Писем Гамлета», пытку которыми мне устраивал мой друг и соавтор Майкл Френкель. Просто поджаривал, сдирал кожу.

Кончив читать, он холодно и с укоризной посмотрел на меня и сказал:

– Полагаю, это вас убедило?

Я открыл калитку и спросил:

– Ральф, да что, черт возьми, с тобой творится? Заходи и расскажи обо всем по порядку!

Я проводил его в свою рабочую каморку, усадил, протянул сигарету и уговорил излить мне душу.

Через несколько минут он уже плакал. Просто-напросто несчастный, беззащитный, неутешный человек.

В тот же вечер я отправил его, снабдив запиской, к Эмилю Уайту в Андерсон-Крик. Ральф сказал, что теперь, когда он знает, что культа секса и анархии не существует, он отправится в Лос-Анджелес, где у него живет тетка. Я полагал, что он переночует у Эмиля и двинется дальше. Но у Эмиля он, сытно пообедав и выспавшись, обнаружил пишущую машинку. Утром после плотного завтрака он уселся за нее и, хотя в жизни не сочинил и строчки, решил, что будет писать книгу. Через несколько дней Эмиль мягко уведомил Ральфа, что тот не может оставаться у него вечно. Это не смутило Ральфа. Ничуть. Он сообщил Эмилю, что именно в таком месте всегда мечтал жить и, если Эмиль ему поможет, он найдет работу и будет платить за жилье и стол.

Короче говоря, Ральф оставался в Биг-Суре почти полгода, перебиваясь всякой случайной работой, переходя от хозяина к хозяину, постоянно попадая во всякие передраги. Вообще, вел себя как испорченный ребенок. Тем временем я получил письмо от отца Ральфа, жившего где-то на Среднем Западе, в котором тот выражал благодарность всем нам за то, что мы заботимся о его сыне. Он рассказал, через какие испытания и муки пришлось пройти ему с женой, чтобы попытаться заставить Ральфа жить как все нормальные люди. Обычная история трудного ребенка, слишком хорошо мне знакомая по старым временам, когда я был управляющим по кадрам в «Космодемоник телеграф компани».

Странность Ральфа проявлялась и в его вечной манере нелепо одеваться. Тогда, летом, он обрядился в теплое пальто и перчатки. Теперь, когда стало холодно, он пришел голым по пояс. Где его рубашка и пиджак? Он их сжег! Они ему разонравились, или же он невзлюбил человека, который пожертвовал их ему. (Все мы время от времени пополняли его гардероб.)

Как-то зимой, в холодную, мерзкую погоду, я проезжал по окраинной улочке Монтерея и, представьте, вдруг замечаю: бредет Ральф – в совершенно жалком виде, полуголый, дрожащий. Со мной в машине Лилик Шац. Мы выходим и тащим бедолагу в кафетерий. Он два дня не ел – с той самой поры, как его выпустили из каталажки. Больше всего его беспокоил не холод, а страх, что приедет отец и заберет его домой.

– Почему ты не можешь оставить меня у себя? – то и дело повторял он. – Я совсем не буду тебе мешать. Ты понимаешь меня, а другие не понимают. Я хочу быть писателем – как ты.

Мы уже не раз толковали с ним на эту тему. Я мог только повторить, что говорил прежде: ему нет смысла пытаться стать писателем.

– Но я теперь другой, – возразил Ральф. – Я лучше знаю, есть смысл или нет. – Он продолжал нудить, как упрямый ребенок, желающий так или иначе добиться своего. Лилик попробовал было его урезонить, но без успеха. – Ты не понимаешь меня, – повторял Ральф.

Наконец терпение у меня лопнуло.

– Ральф, – сказал я, – ты мне просто осточертел. Все тебя не выносят. Житья от тебя нет. Не рассчитывай, что я возьму тебя к себе и стану ходить за тобой, как за малым ребенком. Поголодай и померзни – только это приведет тебя в чувство.

Я направился к выходу. Ральф не отставал и, поставив ногу на подножку машины, продолжал канючить. Я снял с себя пальто, укутал ему плечи и велел Лиliku заводить.

– Ты теперь сам себе хозяин, Ральф! – крикнул я, когда машина тронулась.

Он стоял как вкопанный, губы его продолжали шевелиться.

Несколько дней спустя я узнал, что его забрали как бродягу и отправили домой к родителям. Больше я о нем не слышал.

* * *

В дверь постучали. Открываю – на пороге толпа гостей с улыбками до ушей. Обычные объяснения: «Ехали мимо. Подумали, не заглянуть ли к вам».

Я никого из них не знаю. Однако...

– Заходите!

Неизменные прелиминарии...

– Как тут у вас красиво!.. Как вам удалось найти такое место?.. Я думала, дети с вами... Надеюсь, мы вам не помешали?

Как гром среди ясного неба звонкий женский голос:

– А вы продаете свои акварели? Всегда хотелось иметь картину Генри Миллера.

Я аж подскочил:

– Вы это серьезно?

Она и в самом деле не шутила.

– Где они? Где они? – кричала она, прыгая по комнате и оглядывая стены.

Я быстренько достал несколько акварелей из тех, что были под рукой, и разложил на кушетке. Пока она разглядывает кипу листов, я готовлю выпивку и корм собакам. (Сперва собаки, а уж потом гости.)

Слышу, как они ходят по комнате, изучая картины на стенах, среди которых ни одной моей. Я не обращаю на них внимания.

Наконец женщина, изъявившая желание купить акварели, берет меня за рукав и подводит к двери, на которой прикреплена работа моей жены. Это карнавальная сценка, сверкающая всеми красками, со множеством фигур и предметов. Действительно отличная картина, но не акварель.

– Есть у вас что-нибудь еще *в этом роде*? – спрашивает она. – Очаровательно. Ведь это ваша импровизация?

– Нет, – отвечаю я, даже не пытаясь что-то объяснить. – Но у меня есть вещица, где изображена радуга, не обратили внимания? А как вам *скалы*? Я только что сделал открытие, как рисовать скалы... это не так-то просто, знаете ли. – И я пускаюсь в пространные рассуждения о том, что каждая картина воплощает некую тему или, выражаясь иначе, проблему. – Приятную проблему, – добавил я. – Я был бы последним дураком, тратя жизнь на мучительные проблемы, не так ли?

Я с упоением нес всякую околесицу, потом начал объяснять, что мои картины – это не что иное, как попытка отобразить мою собственную эволюцию как художника. Очень сомнительное утверждение, которое я сам же и опроверг, добавив: «Большую часть времени я занимаюсь живописью». Что прозвучало столь же глупо, сколь и назидательно.

Поскольку не видно было, чтобы ее энтузиазм начал постепенно угасать от моей лекции, я продолжил, рассказывая теперь, что всего лишь с год назад рисовал только здания, скопища

зданий... действительно, столько зданий, что иногда не хватало самого большого листа бумаги, чтобы все их уместить.

– А начинал всегда с Поталы, – сказал я.

– *Поталы?*

– Да, это в Лхасе. Вы, наверно, видели в кино. Монастырский дворец с тысячей комнат, в котором живет далай-лама. Построен задолго до отеля «Коммодор».

Тут я замечаю, что остальные гости чувствуют себя несколько скованно. Надо бы налить им по новой, но я еще не слез со своего конька. Даже если сделка сорвется, как это обычно со мной случается, все равно не могу остановиться. Захожу с другой стороны, просто чтобы прощупать почву. Пускаюсь в долгие абстрактные рассуждения об одном малоизвестном французском художнике, чьи картины с изображением джунглей несколько лет преследовали меня как наваждение. (Как ему только удавалось свести, сплести, переплести ветви, листья, головы, руки и ноги людей, копыта, просветы неба – даже струи дождя, когда это было ему нужно, – и при этом все выписать с потрясающей четкостью! «А почему не геометрически правильно?» – «И геометрически правильно», – бросаю я.) Чувствую, что мои томящиеся гости начинают проявлять нетерпение. Обеспокоившись, отпускаю неуклюжую шутку, что, мол, изображение джунглей потому выглядит так привлекательно, что, ежели у тебя что-то не получается, можно просто взять да и смешать все. (Я, конечно, имел в виду, что для меня всегда было легче, естественней устроить на листе омут из красок, нежели выписывать во всех подробностях стволы деревьев, ветви, листья, цветы, кусты.)

– В старые времена, – делаю я дикий скачок, – я писал только портреты. Я называл их автопортретами, потому что всякий человек на них оказывался похож на *меня*. – (Никто не смеется.) – Да, я написал, наверно, больше сотни...

– Извините, – перебивает меня моя покупательница, – можно еще раз взглянуть на ту картину на двери?

– Разумеется, разумеется.

– Она *так* мне нравится!

– Знаете что, это не моя картина. Ее написала моя жена.

– Я так и думала. То есть я знала, что она не ваша. – Сказано было простодушно, без всякой задней мысли.

Она долго и с воодушевлением смотрела на картину, потом подошла к кушетке с разложенными акварелями и, выбрав мою любимую, которая, как я понадеялся было, останется у меня, спросила:

– Вы позволите мне взять *эту*?

– Говоря откровенно, не хотелось бы. Но если вы настаиваете...

– Она что, неудачная? – Гостья разжала пальцы, и акварель опустилась на кушетку, как опавший лист.

– Да нет, дело не совсем в том. – Я почти нежно взял акварель в руки. – Просто хотелось оставить ее себе. *Мне* она нравится больше всех.

Я нарочно сказал «*мне*» с особым нажимом, чтобы дать ей возможность отступить. Я убежден был, что на сей раз *мой* взгляд на искусство уж точно покажется ей по меньшей мере странным. Для пушей верности я добавил, что мой друг Эмиль, художник, который живет дальше по шоссе, не видит в этой акварели ничего особенного. Как он говорит, «слишком она субъективна».

Мои слова, к несчастью, произвели обратный эффект, возбудив в ней желание получше присмотреться к картине. Она склонилась над ней, разглядывая с таким вниманием, словно в глазу у нее была лупа. Повернула несколько раз так и этак. Видимо, картина нравилась ей, когда была перевернута вверх ногами, поскольку она вдруг сказала:

– Я возьму ее. То есть если позволите.

Я мог бы запросить с нее вдвое больше против того, что стоила акварель, но язык не повернулся. Я решил, что, пройдя такие испытания, она заслужила ее. Так что я назвал даже меньшую цену, чем поначалу намеревался, и мы завершили сделку. Она хотела прикупить еще и раму, но у меня, к сожалению, не было свободной.

Уже собираясь уходить, она поинтересовалась, не сможет ли – как я считаю? – моя жена продать ей картину, которая так ей понравилась. «Не исключено», – ответил я. Тогда, повинуясь внезапному порыву, она вернулась в комнату, быстро огляделась и сказала:

– Пожалуй, стоит мне взять у вас еще одну. Вы не возражаете, если я просмотрю их еще раз?

Я не возражал. Единственной моей мыслью было: *как долго это будет продолжаться?*

Неуверенно перебрав кипу листов, она – с видом знатока, подумалось мне, – принялась разглядывать одну из акварелей, на которую никто, находясь в здравом уме, не взглянул бы во второй раз.

– Господи, что бы *это* могло значить? – воскликнула она, держа акварель на вытянутой руке и стараясь удержаться от смеха.

– «Аламейн», так я называю ее. Место, где Роммель обвел англичан вокруг пальца, – это ведь там произошло?

(Прежде я ей самозабвенно врал, что это «Графальгарская битва», потому что там было разбитых и тонущих кораблей. У меня не получилось изобразить волны, отсюда и разбитые, перевернутые корабли.)

– Вы сказали – Роммель? – переспросила она.

– Да, Роммель. Вот он, на переднем плане. – Я ткнул наугад пальцем.

Она снисходительно улыбнулась:

– Я подумала, это пугало.

– Пугало-шмугало, какая разница? – беззаботно сказал я.

– А это что за черные пятнышки, эти кляксы, повыше, возле холмов? Это ведь *холмы*, да?

– Это надгробные плиты. После сражения, знаете ли... Я думаю сделать на них надписи. Да, надписи белым. Конечно, их трудно будет прочесть. А кроме того, они будут на иврите.

– *На иврите?*

– А почему нет? Да и кто, в конце концов, читает, что написано на надгробьях?

Тут приятели принялись звать ее. Они еще надеялись успеть посетить другую знаменитость – в Уотсонвилле.

– Я лучше побегу, – сказала она. – Может, я напишу вам и попрошу прислать какую-нибудь из ваших работ по почте. Что-нибудь менее... *эзотерическое*. – Она хихикнула.

Спорхнув с крыльца, она помахала мне рукой:

– Счастливо!

– Счастливо! – откликнулся я. – Если разонравится та, что вы купили, вышлите обратно по почте. Здесь ей будет хорошо.

Вечером после обеда, желая дать передышку голове, уставшей от роившихся в ней образов, я взял фонарь и пошел в сад, где густо разрослась молодая поросль сумаха. Там я повесил фонарь на ветку и взялся за работу. Какое это наслаждение, какое свирепое наслаждение – выдирать из земли длинные, упрямые корни сумаха! (Предварительно надев рукавицы.) Лучше, чем рисовать акварели, – иногда. И уж во всяком случае лучше, чем *продавать* акварели. Но, как в живописи, и тут никогда нельзя быть уверенным в конечном результате. Ты можешь считать, что рисуешь Роммеля, а потом обнаружить, что это всего-навсего пугало. И нет-нет да и выдернешь в свирепом рвении гранатовое деревце вместо сорного камфорного.

* * *

Когда Норман Майни удрал из Лусии, его место, место человека на подхвате, некоторое время спустя занял парень по имени Харви. Он поставил палатку прямо посреди зарослей кустарника и сумаха, где застаивался туман и кишели гремучие змеи и зеленые мухи, и поселился в ней с женой и двумя малыми детьми. У себя в палатке он пробовал заниматься живописью, играть на скрипке и писать. Больше всего ему хотелось писать.

Если мне и приходилось встречать прирожденного писателя, то это, могу сказать с уверенностью, был Харви. Когда он говорил, а поговорить он любил и был замечательным рассказчиком, казалось, что он читает по книге. Каждая его история имела ясную форму, четкую структуру и центральную тему.

Но Харви было мало дара рассказчика. Он хотел писать.

Иногда он заходил ко мне, когда у него бывал выходной. Вежливо просил прощения, что отнимает у меня время, и тем не менее просиживал часами, но оправдывало его то, что, по его искреннему убеждению, я ему был необходим. Честно говоря, он был единственный, кого я слушал с большим удовольствием. Прежде всего, он обладал обширными познаниями в английской литературе – от момента ее зарождения. И вообще был человек разносторонний. А такую непритязательную работенку в малолюдной, заштатной Лусии выбрал, рассчитывая на досуге попробовать себя на писательском поприще. Не знаю, почему он решил, что у него будет досуг. Работа оставляла ему мало свободного времени, а переполненная палатка вряд ли была идеальным местом для занятий литературой. Ну а кроме прочего, только да Винчи мог бы надеяться совмещать игру на скрипке и станковую живопись с писательством. Но таков уж был Харви.

«Я *хочу* писать, – жаловался он, – и не могу. Ничего не получается. Сажу за машинкой часами как привязанный, и все, что могу выдать из себя, – это несколько фраз. И даже те плохи».

Уходя, он всякий раз говорил, что я вселил в него уверенность, что у него будто крылья выросли. «Чувствую, завтра дело пойдет само собой». И горячо меня благодарил.

Проходила неделя за неделей, а результат был все тот же – тощая струйка вместо мощного потока, как бы зажигательны ни были наши речи.

Замечательно в Харви было то, что, несмотря на эту немочь, этот паралич (поражавший его, как только он оказывался за машинкой), он мог целиком пересказать содержание большого романа, – Достоевского, например, – с невероятной точностью воспроизводя подробности сюжета, особым выражением выделяя самые сложные и важные места, на что, по нашим представлениям, способны только писатели. За одну нашу посиделку Харви мог дать обзор – аналитический, дидактический и экстатический – творчества таких писателей, как Генри Джеймс, Мелвилл, Филдинг, Лоренс Стерн, Стендаль, Джонатан Свифт, Харт Крейн. Слушать рассказы Харви о книгах и авторах было не в пример увлекательней (для меня), чем слушать знаменитого профессора литературы. У него была манера отождествлять себя с каждым из авторов, переживать все муки, которые, возможно, испытывали они. Он умел выбирать, оценивать и объяснять, не порождая в вас сомнений в верности его слов.

Но такая способность, как вы наверняка можете догадаться, мало что значила для нашего приятеля Харви, поскольку не требовала от него никаких усилий. Он с легкостью рассуждал о нюансах какого-нибудь замысловатого рассказа Генри Джеймса, покуда готовил жаркое из пингвина. (Он на самом деле притащил домой раненого пингвина, которого подобрал на шоссе, и, провоевав с ним три дня и три ночи, приготовил-таки из него отменное блюдо!)

Как-то под вечер, в разгар затянувшегося обсуждения достоинств и недостатков Уолтера Пейтера я торопливо поднял руку, чтобы остановить Харви. У меня мелькнула интересная мысль. Мысль, надо сказать, и отдаленно не связанная с Уолтером Пейтером.

– погоди, Харви! – вскричал я, останавливая его руку со стаканом, который налил ему до краев. – Харви, дружище, кажется, я придумал, что тебе нужно сделать.

Харви, не представляя, что там мне пришло в голову, безучастно смотрел на меня.

– Слушай, – заговорил я, чуть ли не дрожа от возбуждения, – для начала тебе надо забыть об Уолтере Пейтере, и о Генри Джеймсе, Стендале и всех прочих журавлях в небе. На хрен их! Не нужны они тебе... это отработанный материал. Твоя беда в том, что ты слишком много знаешь... то есть слишком много, чтобы это шло тебе на пользу. Я хочу, чтобы ты все это выкинул из головы, стер из памяти. Больше не бери в руки никаких книг, никаких журналов. Даже словарей не открывай. По крайней мере, пока не попробуешь то, что я собираюсь тебе предложить.

Харви озадаченно смотрел на меня, терпеливо ожидая, когда я скажу главное.

– Ты постоянно жалуешься, что не можешь писать. Ты говоришь это каждый раз, когда приходишь ко мне. Надоело это слышать. Больше того, я тебе не верю. Может, у тебя не получается писать так, как тебе хотелось бы, но вообще писать ты способен! Даже идиот может этому научиться, если у него хватит упорства. Вот что я предлагаю. Я хочу, чтобы сейчас ты отправился домой, – я сказал это, зная, что, если он примется расспрашивать о моем плане да рассуждать, опять все уйдет в слова и никакого толку не будет, – да, я хочу, чтобы ты отправился домой, хорошенько выспался и наутро, если можно до завтрака, вставил в машинку лист бумаги и объяснил ему, отчего у тебя не получается писать. Ничего другого, только это. Все ясно? Не спрашивай, почему я настаиваю на этом, просто попробуй!

Я был удивлен, что он не сделал попытки перебить меня. Вид у него был ошарашенный, словно он только что выслушал приговор.

– Харви, – продолжал я, – хотя это не одно и то же, я имею в виду рассказывать и писать, я заметил, что ты можешь говорить ярко и интересно о чем угодно. И ты можешь рассказывать о себе, о своих трудностях с таким же блеском, как о соседе. По правде сказать, о себе ты рассказываешь даже лучше. Собственно, это ты все время и делаешь, даже когда притворяешься, что говоришь о Генри Джеймсе, или Германе Мелвилле, или же Ли Ханте. Человек, обладающий даром рассказчика – а ты несомненно наделен таким даром, – не должен бояться листа чистой бумаги. Забудь, что это лист бумаги... представь себе, что это ухо. Говори ему! Говори в него! Посредством пальцев и клавиш на машинке, разумеется... *Не могу писать!* Что за вздор! Конечно, ты можешь писать. Ты – Ниагара... А теперь иди домой и делай, как я сказал. На этом пока и остановимся. И помни, ты будешь писать только о том, почему не можешь писать. Посмотрим, что получится...

Пришлось проявить твердость и буквально выставить Харви, именно так, а не начать «обсуждать это», чего ему до смерти хотелось. Но в конце концов он сам заставил себя уйти. Больше того, к машине он уже подбегал рысцой.

Прошло недели две, потом три или четыре, а Харви все не появлялся. Я начал было думать, что моя идея была не так уж хороша, как мне казалось. Наконец в один прекрасный день он появился.

– Ну-ну! – воскликнул я. – Так ты еще жив! Что, сработало?

– Еще как сработало, – ответил он. – Я писал не отрываясь с того самого дня, когда ты подкинул мне свою идею. – Он рассказал, что бросает работу в Лусии и возвращается на Запад, откуда он родом.

– Буду уезжать, опущу тебе в почтовый ящик сверток с рукописью. Взгляни, если будет время, ладно?

Я честно пообещал исполнить его просьбу. Несколько дней спустя Харви уехал. Но никакого свертка в ящике я не нашел. Прошло еще несколько дней, и я получил от него письмо, где он объяснял, что не оставил мне рукопись, поскольку думает, что мне не стоит тратить на нее время. Во-первых, она слишком велика. А во-вторых, он расстался с мыслью стать писателем. Харви не сообщал, чем собирается зарабатывать на жизнь, но у меня создалось впечатление, что он намерен вернуться к профессии преподавателя. Обычная история. Когда у самого ничего не получается, учи других.

Больше я о Харви не слышал. Не представляю, чем он занимается сейчас. Я по-прежнему убежден, что он – писатель; по-прежнему верю, что в один прекрасный день он вернется к этому занятию и уже никогда его не бросит. Почему я так убежден в этом, не знаю.

В наши времена трагедия людей, таких как Харви, в том, что, даже когда они преодолевают «звуковой барьер», они все равно почти сразу же гибнут. Оттого, что они превосходно знают литературу самой высшей пробы, оттого, что обладают прирожденным вкусом и способны отличить прекрасное от посредственного, им трудно достичь того уровня в собственном творчестве, когда бы они были интересны читающей публике. Особенно им недостает инстинкта освобождения, суть которого так хорошо сформулирована мастерами дзена: «*Убей Будду!*» Они хотят стать еще одним Достоевским, еще одним Жидом, еще одним Мелвиллом.

По здравом размышлении мой совет Харви (и всем, кто оказался в его шкуре) был очень разумен. Если не можешь описать существующее, описывай несуществующее! Главное – зацепиться, стронуться с места, зазвучать. Когда заело тормоз и не можешь двинуться вперед, попробуй дать задний ход. Часто это срабатывает.

Когда дело пошло, предстоит решить самую важную задачу – как завоевать читателя, а еще лучше, как создать собственного читателя! Писать, не имея читателей, – самоубийство. У писателя должна быть аудитория, пусть совсем небольшая, это не важно. Я имею в виду – восторженная аудитория, избранная аудитория.

Как мне кажется, лишь немногие молодые писатели понимают, что они должны найти – создать, изобрести! – способ привлечь своего читателя. Недостаточно написать книгу хорошую, прекрасную или лучшую, чем большинство книг. Недостаточно даже написать «самобытную» книгу! Необходимо установить или восстановить чувство единения, которое было нарушено и которое читатель, этот потенциальный художник, ощущает столь же остро, как писатель, который полагает себя художником. Тема разобщенности и обособленности – «атомизации», как это нынче называется, – имеет столько граней, сколько есть неповторимых личностей. А мы все неповторимы. Стремление к воссоединению, при общей цели и всеобъемлющем смысле, носит в наше время общечеловеческий характер. Писателю, желающему общаться с согражданами и таким образом установить тесную с ними связь, только и нужно, что высказываться со всею искренностью и прямоотой. Он не должен задумываться о литературных канонах – он создаст их походя, – не должен задумываться о направлениях, моде, конъюнктуре, всеми принятыми и всеми отвергаемыми идеях: ему только нужно разрешиться собою, нагим и уязвимым. Все, что гнетет и ограничивает его, говоря языком несуществующего, читатель, хотя он, может, и не художник, ощущает с таким же точно отчаянием и безысходностью. Мир на всех давит одинаково. Люди страдают не от недостатка хорошей литературы, хорошей живописи, хорошего театра, хорошей музыки, но от того, что не позволило всему этому стать *их* высказыванием. Короче говоря, они страдают от молчаливого, постыдного заговора (тем более постыдного, что его существование не признается), и это сплотило их во вражде к искусству и художнику. Они страдают от того факта, что искусство не является основной, движущей силой их жизни. Страдают от той ежедневно повторяющейся лжи, что они, мол, могут спокойно обходиться без искусства. Им в голову не приходит (или они делают вид, что не приходит), что их жизнь оттого-то и пуста, полна разочарований и безрадостна, что из нее изгнали искусство (а с ним и художника). И потому, что каждого художника так вот убивают (непред-

намеренно), тысячи простых граждан, жизнь которых могла бы быть нормальной и радостной, обречены влачить мучительное существование, становясь неврастениками, психопатами, шизофрениками. Нет, человеку, который находится на грани срыва, не следует обращать взор к «Илиаде», или «Божественной комедии», или другому великому произведению; ему всего лишь надо предложить нам (написанную на своем, неповторимом языке) сагу о собственных бедах и страданиях, сагу о собственном не-бытии. В этом зеркале не-существования всякий человек узнает себя по тому, каков он есть, как и по тому, каким он не стал. И он больше не сможет сохранять достоинство перед своими детьми или соседями; он будет вынужден признать, что это он – а не кто-то другой – и есть тот страшный человек, кто способствует, вольно или невольно, ускоренному распаду и краху нации. Он будет знать, принимаясь утром за работу, что все: любое его дело, любое его слово, любая вещь, к которой он прикасается, – часть невидимой ядовитой паутины, которая стискивает нас и медленно, но верно выдавливает из нас жизнь. Не имеет значения, какой высокий пост занимает читатель, – он человек такой же подневольный, он такая же жертва, как любой отверженный, любой изгой.

Кто станет печатать такие книги, издавать и распространять их?

Никто!

Ты должен сделать это сам, дорогой мой. Или поступи, как Гомер: с белым посохом броди по большакам и проселкам и пой свою песнь. Может, тебе придется платить, чтобы люди выслушали тебя, но даже это не будет каким-то невообразимым подвигом. Имей при себе шепотку «травки», и вскоре у тебя появится своя аудитория.

2. Шайка из Андерсон-Крика

«Боль была невыносимой, но я не хотела, чтобы она прекращалась: она была, как опера, грандиозна. Она озаряла вокзал Гранд-Сентрал, как пламя Судного дня».

В 1945 году издательство лондонского журнала «Поэтри» выпустило тоненькую книжечку стихов Элизабет Сمارт, называвшуюся «У вокзала Гранд-Сентрал я сидела и плакала». Это очень необычная книжка, «история любви», как гласит надпись на обложке. Любовь эта, вдохновившая автора, случилась в Андерсон-Крике в те времена, когда там задавал тон Жан Варда. Книжка, должно быть, была написана примерно тогда же, когда и «Чужак» Лилиан Бос Росс, спрос на которого будет существовать до тех, наверно, пор, пока существует Биг-Сур.

«Все здешние легенды повествуют об актах кровной мести и самоубийстве, невероятной провидческой способности и сверхъестественном знании», – пишет Элизабет Смарт. Она, верно, имела в виду сюжетные поэмы Робинсона Джефферса. Когда Эмиль Уайт добрался – через Юкатан – до Андерсон-Крика (в 1944 году), там не было ни одного художника, а хибары каторжников стояли пустые, даже крысы из них ушли. Ни о какой кровной мести, ни о каких револьверах, поножовщине, самоубийствах и речи не шло: на всем Побережье царил покой. Война подходила к концу, заглядывали бродяги. Вскоре появились длинноволосые художники, и опять возобновились несчастливые романы. Ночью, под шум ручья, мчащегося к морю, утесы и валуны пугали зыбкими, сродни галлюцинации, вариантами грозящих бедствий, что сообщало этим местам пряную остроту. В считанные годы здесь вновь собралась «Колония» бродячих художников; легенды возродились, только они больше не были кровавыми.

Лачуга Эмиля Уайта – лачуга в буквальном смысле! – стояла близ шоссе, скрытая от глаз проезжих высокой живой изгородью, нестриженной и заросшей дикой розой и пурпурным выюнком. Как-то в полдень мы присели с ним в тени этой изгороди, чтобы перекусить. Я помог ему разгрести грязь в его халупе, мрачной, с плесенью по стенам от сырости, провонявшей крысиным дерьмом. Маленький столик с нашим кофе и сэндвичами стоял в одном-двух футах от обочины. Вскоре рядом с нами остановилась машина, из которой вышли мужчина и женщина. Бросив полдоллара на столик, мужчина заказал кофе и сэндвичи; он всерьез решил, что мы держим придорожное кафе.

В те дни, когда Эмиль умудрялся прожить на семь долларов в неделю, я постоянно убеждал его, что он может заработать кое-какую мелочь, предлагая проезжим кофе и сэндвичи. Закусочных вдоль шоссе было мало, и расположены они были редко, а от бензоколонки до бензоколонки вообще пятьдесят миль. Много раз Эмиля вытаскивали из постели в два или три утра туристы, которым нужны были бензин или вода.

Потом в наши края начали один за другим забредать люди искусства: поэты, художники, танцоры, музыканты, скульпторы, романисты... всякого искусства, кроме искусства безделья. Все без гроша за душой, пытающиеся питаться одним воздухом, жаждущие самовыражения.

До этого времени единственным писателем, которого я тут встречал, кроме Лилиан Росс, была Линда Сарджент. У Линды было все необходимое для того, чтобы стать писателем, кроме одного, но незаменимого качества – уверенности в собственных силах. Кроме того, она страдала эргофобией – болезнью, распространенной среди писательской братии. Роман, над которым она работала долгие годы, был, к несчастью, уничтожен пожаром (заодно спалившим и дом) вскоре после того, как она его закончила. Когда я гостил у нее, она показывала мне рассказы и повести, какие законченные, какие нет, но все замечательные. Герои их были по большей части жители Новой Англии, которых она знала девчонкой. Эта Новая Англия больше походила на Биг-Сур из легенд – полная всяческого насилия, ужаса, инцеста, несбывшихся мечтаний, отчаяния, одиночества, безумия и разочарования. Линда рассказывала эти истории с каменным равнодушием к чувствам читателя. Ее проза была сочной, тяжелой, как бархат, и

стремительной, как бурный поток. Все богатство языка было в ее распоряжении. Чем-то она напоминала мне ту странную женщину из Восточной Африки, что писала под именем Исака Динесен. Только Линда была более настоящей, более земной, более леденящей кровь. Должен добавить, она по-прежнему пишет. В последней весточке, пришедшей от нее с одинокого наблюдательного поста высоко в горах, она сообщала, что заканчивает очередную книгу.

Норман Майни, о котором я уже упоминал, был – и остается по сию пору – «еще одним многообещающим писателем», как любят выражаться издатели. Он, конечно, был больше чем просто «многообещающий писатель». Он обладал задатками фон Мольтке, Большого Билла Хейвуда, Кафки – и Брийа-Саварена. Я впервые встретился с ним в доме Кеннета Рексрота в Сан-Франциско. Он сразу поразил меня. Я почувствовал, что этот человек прошел через глубочайшие унижения. Тогда я воспринимал его не как писателя, а как стратега. Военного стратега. «Потерпевшего поражение» стратега, который теперь сделал полем своей битвы жизнь. Таким был для меня Норман – невероятный Норман, которого я мог, да и сейчас могу, слушать бесконечно.

Год или два спустя после первой нашей встречи он появился в Биг-Суре с женой и ребенком, полный решимости написать книгу, которая вызревала в нем уже несколько лет. Не помню сейчас название той книги, которую он наконец завершил в Лусии, но помню ее аромат. Вполне возможно, что она называлась «Невыразимый ужас этой созданной человеком Вселенной». Название было безупречно, вот только о самой книге нельзя было этого сказать. Жесткая, безжалостная и неумолимая – хтоническая драма, отражающая снящийся кошмар нашего бодрствующего мира.

Ну и попотели же мы над той книгой! Я говорю «мы», потому как, написав примерно половину, Норман стал частенько заходить ко мне за, так сказать, инъекцией. Духовной, разумеется. Стратег в нем вышел на первый план. Оказавшись в патовой ситуации, он призвал на помощь все свое военное искусство – иначе я не могу это назвать. Его армия застыла в красивом порядке, полководческий гений не изменил ему, победа была почти у него в руках, но он не мог сделать или, вернее, решиться сделать ход, который принес бы ему победу в решающей схватке.

Я еще не прочел и строчки из его книги, да и он, по правде сказать, не дал себе труда обрисовать в общих чертах ее сюжет. Он говорил о ней так, словно это было сусло. Он не желал, чтобы ему помогали варить пиво: чего он хотел, так это понять суть процесса брожения. Здесь я должен пояснить, что Норман принадлежал к тому типу писателей, которые пишут в час по чайной ложке: фразу к фразе, строчку к строчке, продвигаясь вперед осторожно, с оглядкой, мучительно, трудно. Общая картина ему была ясна и, наверно, хранилась в клетках его мозга, разбитая на геометрически правильные фрагменты, но писать удавалось только судорожными рывками, выдавливая слова по капле. Он не мог понять, почему то, что переполняет его до краев, не изливается потоком. Наверно, он неправильно понимает процесс творчества. Наверно, нужно не взвешивать (на критических весах) каждое слово, а писать без оглядки и все, что придет в голову. Каким образом я умудряюсь писать так быстро и так свободно? Чего он боится, себя ли или сказанного им? Действительно ли он писатель, или это ему только так кажется? Способности есть у каждого, и – при систематической работе над собой – всякий может что-то написать. Но достаточно ли этого? Должно ведь быть что-то еще: огонь, страсть, всепоглощающее стремление. Не следует заботиться о том, хорошая книга получится или плохая. Нужно лишь писать, забыв обо всем. Писать, писать, писать...

Живи Норман в Европе, сомневаюсь, что ему пришлось бы прилагать столько усилий, чтобы выразить себя. Во-первых, там его легко могли бы понять. Его смиренность была неподдельной и трогательной. Чувствовалось, что он создан для чего-то большего, что писать он начал от отчаяния, после того, как все другие пути оказались закрыты. Он был слишком искрен-

нен, слишком честен, слишком правдив, чтобы когда-нибудь иметь успех у публики. Он был настолько цельной личностью, что, по правде сказать, внушал страх и подозрение.

После нескольких неудачных попыток он перестал предлагать книгу издателям. Вскоре он потерял работу в Лусии и вынужден был вернуться в большой город. Потом я узнал, что он устроился сторожем в Калифорнийский университет в Беркли. Работа была ночная, так что он мог писать днем. Время от времени он приходил послушать лекцию. Забавно думать, что наш скромный сторож, возможно, обладал куда более обширными познаниями в математике, истории, экономике, социологии и литературе, чем те профессора, чьи лекции он иногда слушал. Я частенько думал, какую замечательную лекцию об искусстве быть сторожем мог бы он прочесть. Ибо за что бы Норман ни брался, все становилось искусством. В глазах людей практичных это было главным его недостатком – подобное упорство в стремлении все превращать в искусство.

На мой взгляд, совершенно не важно, станет Норман Майни признанным писателем или нет. Важно, что среди нас все еще встречаются подобные американцы.

Кто мог писать с необычайной легкостью, так это Уокер Уинслоу. До появления в Биг-Суре Уокер под разными именами опубликовал несколько книг. Еще он написал гору стихов. Но по-настоящему его талант раскрылся, когда он принялся за автобиографический роман «Если человек сумасшедший».¹⁵ Каждый день он писал по пятнадцать-двадцать, а то и по тридцать страниц. С рассвета до заката стучал на машинке. Не притрагивался к спиртному во все те несколько месяцев, что потребовались ему для написания романа. Литрами пил кофе и выкуривал по несколько пачек в день. А закончив, еще много работал, главным образом сокращая роман, убирая лишнее. Пока он трудился над романом, ему поступали многочисленные предложения от издателей. Как помнится, одно время он пытался работать сразу над тремя книгами.

Но, как и в случае Нормана, писательство стояло у него на втором месте. Люди – вот что больше всего занимало Уокера. Большую часть своей жизни он был бродягой, босяком, бездомным, бичом. С душой святого. Если он сам не был в беде, то помогал другим. Никакие расстояния не смущали его, когда надо было прийти кому-то на помощь: он был настоящей опорой слабому и больному. Писание книг для Уокера было чем-то вроде антракта. Он, конечно, не Горький, хотя в другом обществе, более чутком и восприимчивом, более терпимом, более «благоговейном» к неудачникам и несчастным, мог бы стать еще одним Горьким. Несомненно, Уокер не хуже Горького знал и понимал каждого, кто оказывался на дне. Он так же знал и понимал Джона Ячменное Зерно, как никто из писателей. Писательство ему давалось и дается легко, ему лишь трудно утолить неумную жажду жизни.

Другой глубоко понимающий человеческую природу писатель, о котором, чувствую, необходимо сказать несколько слов, – это Джейк Кенни. Он живет не в Биг-Суре, но неподалеку от него. Душой он русский – достоевскианец в широком смысле слова. Подобно многим потенциально великим писателям, Джейк не способен обивать пороги издателей. Я прочел рукопись его первого романа не один раз. Он назвал его «Без сна». Замечательное название, если знать, о чем книга. Единственно возможное. Несмотря на недостатки – мелкие недостатки, – в ней есть то, что не часто встретишь в американской литературе: впечатлительность, пылкость, чувство братства. Что и говорить, чересчур она живая. Заставляет смеяться и плакать, а это оскорбляет американцев, потому что они стыдятся искреннего смеха и искренних слез.

К сожалению, Джейк Кенни умеет работать руками. Он не только писатель, но еще плотник и строитель. К великому сожалению. Потому что, когда не удастся заработать на жизнь пером, его всегда может выручить это его умение. А «мы», кому мало дела до того, чем человек зарабатывает на хлеб насущный, никогда не узнаем, что потеряли. И потом, действительно

¹⁵ Гарольд Мейн (псевдоним). Если человек сумасшедший. Нью-Йорк: Даблдей, 1947. – Примеч. Г. Миллера.

ли мы хотим иметь литературу, подобную роману «Без сна»? Разве не предпочитаем иную, из разряда «Наведи на меня сон»?

Другой такой же «неудачник» – Пол Ринк, ближайший мой сосед. Даже еще больший неудачник, и тоже на все руки мастер. И он написал свой роман, который нигде не хотят принимать – двадцать пять издателей возвратили рукопись. «Слишком хорошо!» «Слишком то, слишком сё». Несколько раз он переписывал свой опус, и совершенно напрасно, по моему мнению. Один издатель согласится принять роман, если он сократит первую часть; другой – если он изменит конец; третий обещал «рассмотреть» книгу, если Пол еще поработает над вот этим персонажем, над вот этим эпизодом, и над этим, и над тем. Пол, верящий, что они желают ему добра, изо всех сил старается влезть в смиренную рубашу – и чтобы при этом не изменить себе. Безнадёжная задача! Никогда, никогда не следует делать того, что просят издатели. Спрячь свою рукопись, напиши другую, потом еще и еще. Когда они наконец признают тебя, швырни им снова первую. Они скажут: «Почему ты никогда не показывал нам *этой* вещи? Это шедевр!» Редакторы частенько забывают, что они уже читали или что отвергали. «Это кто-то другой читал рукопись, но не я», – скажут они. Или: «Тогда издательство придерживалось иной политики». У издателей семь пятниц на неделе. Впрочем, бесполезно говорить писателю, первую книгу которого все же приняли, что редакторы и издатели – идиоты и так же не способны оценить стоящую вещь, как остальные смертные, что их не интересует литература *per se*,¹⁶ что их критерии столь же непостоянны, как пески пустыни. *Где-нибудь, как-нибудь, когда-нибудь* да издадут, рассуждает автор. Господь Всевышний! «Только наступление!» – как говорит Рембо.

Неподалеку от Литл-Сур-Ривер, в ветреной бухте – собачье место! – на большой животноводческой ферме,¹⁷ работает сторожем Эрик Баркер, английский поэт. Плата грошовая, работа легче легкого, полно свободного времени. По утрам он ныряет в ледяной горный поток, под вечер – в море. От времени до времени отражает набеги рыбаков, охотников, пьяных – и угонщиков скота главным образом. Звучит божественно, если бы только не бешеный ветер, который дует там не переставая двадцать четыре часа в сутки и девять месяцев в году.

Эрик писал стихи, ничего, кроме стихов, уже двадцать пять лет. Он хороший поэт. Скромный, без амбиций, не пробивной. Такие люди, как Джон Каупер Поуис и Робинсон Джефферс, высоко ставят его творчество. Не далее как несколько месяцев назад Эрик получил признание, выразившееся в форме премии. Пройдет, наверно, еще двадцать пять лет, прежде чем он получит следующую. Эрика, похоже, это не трогает. Он умеет жить в мире с собой и с ближним. Когда его посещает вдохновение, он пишет под его диктовку. Если вдохновения нет, его это не волнует. Он поэт и живет как поэт. Мало кто из писателей способен на это.

Хью О'Нилл тоже поэт. Он уже несколько лет живет в Андерсон-Крике. Живет, я бы сказал, чуть ли не в полной нищете. При этом всегда безмятежен, иным я его не видал. Как правило, молчалив; изредка это мрачное молчание, но обычно не убийственное, а располагающее. До того как приехать в Биг-Сур, О'Нилл не знал, что такое ручной труд. Это был типичный ученый. И вдруг, без сомненья в силу необходимости, он обнаружил в себе способности, каких сам не ожидал. Он даже стал наниматься плотником, водопроводчиком, каменщиком. Клал каминные соседи; некоторые отлично работали, некоторые нещадно дымили. Но все были красивы просто на загляденье. Потом он занялся огородом – выращивал овощи таких исполинских размеров, что мог бы накормить всю колонию в Андерсон-Крике. Он удил рыбу и охотился. Гончарил. Писал картины. Научился ставить заплатки на штаны, штопать себе носки, гладить одежду. Никогда еще не встречал я поэта, столь преуспевавшего в практических делах, как Хью О'Нилл. И при этом он оставался нищим. Оставался из принципа. Он повторял, что ненавидит

¹⁶ Как таковая (лат.).

¹⁷ С тех пор ему уже отказали в месте. – Примеч. Г. Миллера.

работать. Но не было более неумолимого, более усердного труженика, чем этот самый Хью О'Нилл. Что он ненавидел, так это серенькую жизнь, тоскливую, бессмысленную каторгу изо дня в день. Он предпочитал голодать, но не присоединяться к общему стаду. И он умел голодать так же красиво, как работать. И делал это с видом снисходительным, почти как если бы хотел показать, что голодание – это просто-напросто такая забава. Казалось, он питается одним воздухом. Он и ходил так, словно ступал по воздуху. Движения его были быстры и бесшумны.

Подобно Харви, он умел анализировать книги увлекательно, тонко и глубоко, как профессиональный лектор. Поскольку он был ирландцем, предмет обсуждения мог в его преломлении приобрести совершенно фантастические качества. Приходилось возвращаться к роману, о котором он рассуждал, и перечитывать его, чтобы убедиться, что в нем от Хью О'Нилла, а что от автора. Таким же образом он подавал и собственные истории – я имею в виду истории из его жизни. Каждый раз он рассказывал их по-другому. Лучшие из них были о войне, о его пребывании в немецком плену. По тону и духу эти истории очень напоминали «Людей на войне» Андреаса Лэцко. Упор в них делался на то, каким смешным – и великим – может быть человек даже в самых трагических обстоятельствах. Хью О'Нилл всегда смеялся над собой, над трудными ситуациями, в которые попадал. Как будто все это случалось не с ним, а с кем-то другим. Даже в Германии, будучи военнопленным, в изодранной одежде, голодный, раненый, полуослепший, он находил в жизни забавные, гротескные, смешные стороны. В нем не было ни капли ненависти. О своих унижениях он рассказывал так, словно ему было жаль немцев, жаль за то, что, будучи всего-навсего людьми, они оказались поставлены в такое положение.

Но изложить эти истории на бумаге у Хью О'Нилла никак не получалось. Хотя материала у него было достаточно, чтобы написать еще один (по крайней мере) великий военный роман. Он все обещал написать эту книгу, но так и не написал. Вместо того он писал рассказы, эссе, стихи, но ничего из этого не могло сравниться с теми историями, которые совершенно покорили нас. Война оставила в нем свой неизгладимый след; после нее нормальная жизнь казалась ему бесцветной и бессмысленной. Он с удовольствием писал всякую безделицу. Ему нравилось транжирить время, и мне доставляло удовольствие наблюдать, как он это делает. Почему, в конце концов, он непременно должен был писать? Или писательство не доставляет тех же мучений, какие доставляют людям другие занятия, людям, что кладут жизнь на то, чтобы колеса продолжали вертеться?

Одно время у него была ирландская арфа. Он прекрасно смотрелся с ней. Он смотрелся бы еще лучше, когда бы пошел бродить с нею по земле, распевая свои песни, рассказывая свои истории, здесь чиня изгороди, там мостя дорожку, ну и так далее. Он был из тех, кого ничто не берет, – такой беззаботный, такой беспечный, такой равнодушный к остальному миру! Какая жалость, что наше общество не из тех, что позволяют человеку жить, как он хочет, и вознаграждают его – черствой коркой и наперстком виски – за то, что ни при каких обстоятельствах он не падает духом.

Кто-то относится к этому спокойно и продолжает делать свое дело, кто-то мучается сам и превращает жизнь жены и детей в сплошной ад, кому-то это стоит громадных усилий, кому-то достаточно открыть кран – и из него просто хлещет, кто-то начинает, но не может закончить, а кто-то кончает, не начав. На долгой дистанции все это, думаю, не имеет большого значения. Во всяком случае, для издателей и еще меньше – для бесчисленной читающей публики. Пусть мы не дали Горьких, Пушкиных и Достоевских, но мы дали Хемингуэев, Стейнбеков и Теннесси Уильямсов. Так что никто не страдает. Кроме литературы. Стендаль написал «Пармскую обитель» меньше чем за шестьдесят дней; Гёте потребовалась вся жизнь, чтобы закончить «Фауста». Комиксы и Библия продаются лучше любой из этих книг.

Иной раз я получаю письмо от Жоржа Сименона, одного из самых плодovitых среди живущих авторов и лучшего в своем жанре. Когда он приступает к работе над очередной книгой – для него это задача на несколько недель, он извещает друзей, что некоторое время не

сможет отвечать на письма. Порой я говорю себе, как замечательно было бы завершать книгу всего за несколько месяцев. Как это чудесно, извещать всех и каждого, что ты на какое-то время «отключаешься»!

Но вернемся на наш невольничий берег... Родж Рогавей был, похоже, из тех, кому море по колено. Он обрелся в пустующей школе неподалеку от Кренкел-Корнерс; он жил там с разрешения Бена Бьюфано, который в свою очередь получил разрешение от властей устроить себе в школе мастерскую.

Рогавей был высокий малый, гибкий, словно гуттаперчевый, добродушно-веселый и с виду типичный моряк. После того как их корабль взлетел на воздух, торпедированный подлодкой, он серьезно страдал кишечником. Он был так счастлив, получив абсурдно крохотную пенсию, которая дала ему возможность заниматься живописью, что, уверен, не стал бы жаловаться, если б взрывом ему не только кишки повредило, но и оторвало ноги. Он был превосходным танцором и превосходным художником. Обожал что-нибудь свинговое, вроде «Остановимся только в Буффало», и, когда шел в танце, вихляясь и косясь (плотоядно) на партнершу, был похож на Приапа, у которого в заднице засели осколки снаряда.

Рогавей выдавал в день по законченной картине, иногда по две или по три. Но ни одной, похоже, не был доволен. Тем не менее продолжал писать, день за днем, со все возрастающей скоростью, веря, что в один прекрасный день создаст шедевр. Когда кончались запасы холста, он писал поверх картин, законченных месяц назад. На его полотнах присутствовали радость и музыка. Может, они не тянули на большее, чем на упражнения непрофессионала, но халтурой они не были.

Интересно было то, где он занимался этими своими «упражнениями». Он мог бы работать в помещении школы – места там вполне хватало, – но у Роджа была семья: жена и двое детей, один совсем еще младенец, и дети доводили его до белого каления. Каждый день с утра пораньше он выбирался на незаметную тропку позади школы, которая через несколько сотен ярдов приводила его к некоему подобию сарайчика. Укромная эта хибара, которую Родж соорудил на скорую руку, позже служила Бьюфано для его медитаций. Кто бы ни шатался по холмам, ему и в голову не могло прийти, что здесь, в зарослях кустарника, находится это аскетическое логово с китайской живописью по шелку на стенах, с тибетскими свитками, индейскими фигурками доколумбовой эпохи и тому подобными вещами, которые Бьюфано собрал в своих путешествиях. И уж тем более никто бы не подумал, что какой-нибудь художник, особенно такой дылда, как Рогавей, приспособился работать в этой низенькой конуре. Коротышка Бьюфано и тот вынужден был проделать дыру в стене, чтобы можно было вытянуть ноги, когда он устраивался вздремнуть.

Даже теперь я вижу Рогавея, возбужденного, как всегда, когда он работал над новым холстом. Чтобы окинуть его оценивающим взглядом, ему приходилось делать шаг назад, на улицу. Когда он снова ступал внутрь, то ничего не видел, кроме черноты в глазах. В таком вот экстатическом состоянии постоянно отступая в раскрытую дверь, он то попадал ногой в лужу дегтя, то падал задом в заросли ежевики и крапивы. Но все ему было нипочем. Шипы и жгучая крапива лишь подстегивали его, заставляя быстрее работать кистью. Единственной заботой Рогавея было успеть как можно больше, пока достаточно светло.

По вечерам он расслаблялся. Если не с кем было откупорить бутылочку вина и послушать музыку, он пил и танцевал в одиночестве. Вино ему было противопоказано; он пил потому, что ничего лучшего позволить себе не мог. Достаточно было стакана, чтобы он пришел в хорошее настроение. Иногда он танцевал, стоя на одном месте, и только гуттаперчевые его конечности тряслись, как сардина с вынутым хребтом. Порой он становился настолько развинченным, что походил на осьминога, корчащегося в экстазе.

У Рогавея была навязчивая идея найти место, где климат еще теплей, где в океане можно купаться, а валютный курс позволял бы жить на еще меньшие гроши, чем те, на которые он

жил в Биг-Суре. Однажды он отправился в Мексику, пробыл там примерно с год, потом перебрался на Майорку, оттуда на юг Франции, затем в Португалию. Последние годы он жил – и, известное дело, писал картины! – в Таосе, который расположен, во всяком случае, далеко от любого океана, где погода зимой гнусная и где полно туристов. Верно, Родж уговорил индейцев разрешить ему исполнять вместе с ними танец змеи. Другой причины, почему он там остался, не могу придумать.

В нашей хижине в Андерсон-Крике, где имелась такая роскошь, как туалет, мы какое-то время вынуждены были обходиться без музыки, поскольку у нас не было ни радио, ни патефона. Это не мешало Гилберту Нейману, еще одному писателю и нашему близкому другу, слышать музыку. Я хочу сказать, слышать музыку *наших* мест. Каждый, кто устраивается здесь жить, первое время слышит что-то свое. Некоторые слышат симфонии Бетховена, некоторые – военные оркестры, некоторые слышат голоса, а кто-то – стенания и вопли. Особенно те, кто живет поблизости от ручья в каньоне, где рождаются эти жуткие, тревожащие душу звуки. Гилберт с женой и дочерью занимали большой дом, когда-то принадлежавший Варда. (Варда переделал гостиную в танцевальный зал, который служил еще и прекрасной бильярдной.) Но, как я уже говорил, Гилберт уверял, что «музыка» доносится из *нашего* дома, который находился в доброй сотне ярдов от его. В основном это происходило по ночам, что ему крайне досаждало, поскольку он плохо спал. Пил он тоже неумело, но в это я не стану углубляться. Когда я спрашивал его, что за музыку он слышит и какого рода, он отвечал: «Да ту пластинку Вареза». Что он имел в виду: «Ионизацию», «Плотность 21.5», «Октандр» или «Интегралы», я так и не понял. «Знаешь, – говорил он, – эта та вещь, где всякие китайские барабаны, бубенчики, бубны, гонги, цепи и прочее дерьмо». Гилберт разбирался в музыке, преклонялся перед Моцартом и в минуты душевного покоя любил слушать Вареза. Где бы они ни жили, а они постоянно выбирали для житья какое-нибудь странное место, у них в доме всегда были груды пластинок. В Банкер-Хилле (Лос-Анджелес), месте столь же потустороннем, как Милуоки, они частенько голодали, зато всегда слушали музыку. Когда они поселились в маленьком зеленом домишке в Беверли-Глен (на окраине Голливуда), Гилберт натирал себя оливковым маслом и, укрывшись в кустах за домом, принимал солнечные ванны. Музыка гремела во всю мощь: Шостакович, «Гаспар из Тьмы», квартеты Бетховена, Вивальди, фламенко, кантор Розенблатт и так далее. Часто соседи просили его сделать музыку немного потише. Когда он работал над книгой – в гараже, музыка звучала не переставая. (Он садился за работу в полночь, а заканчивал на рассвете.)

Книга, которую он написал в Беверли-Глен, – «У каждой страны свой тиран»,¹⁸ – была принята и опубликована нью-йоркским издательством вскоре после того, как он поселился в Биг-Суре. Причем это была великолепная книга, хотя соседи сильно расходились во мнениях относительно ее достоинств и недостатков. Что до меня, то мне не доводилось читать лучшего романа о Мексике. Во всяком случае, теперь Гилберт работал над второй книгой, «Преисподняя». Вот тогда-то, когда он перестал работать по ночам и трудился только днем, музыка – призрачная музыка – и начала его донимать. Конечно, он пил при этом. Садился за письменный стол, что называется, ни в одном глазу, а к концу работы в глазах у него двоилось. Возвращаясь в нормальное состояние, Гилберт становился – не могу подобрать более подходящего слова – *очарователен*.

Трезвый, Гилберт ходил как индеец – бесшумно, неумоимо, стремительно. Пьяный, он петлял, как человек, находящийся в состоянии транса, или лунатик, который идет по краю пропасти неверной походкой, оступаясь, балансируя, качаясь, но никогда не падая. Когда он находился в подобном состоянии, речь его была под стать его походке. Он буквальным образом продирался сквозь тему своих рассуждений – о Леопарди, тантрах или Поле Валери, к

¹⁸ Нью-Йорк, «Харкурт, Брейс энд компани», 1947. – *Примеч. Г. Миллера.*

примеру, – совершая опасные обходные маневры, преодолевая немыслимые преграды, возвращаясь назад по своим же следам, падая и вновь поднимаясь, переходя на язык глухонемых, когда не хватало дыхания или слов... Он мог вернуться точно в то место, где остановился, – начав свое пространное замечание в скобках, – и час, и два назад. То есть вернуться к фразе, прерванной на полуслове, и закончить ее. Порою он замолкал на всем лету и, забыв о нас, его слушателях, погружался в медитацию. Со времен жизни в Колорадо у него появилась привычка постоянно ожидать некие послания. Послания эти всегда были от Мамы Кали, как он называл ее. Иногда Мама Кали являлась ему собственной персоной как раз в тот момент, когда он подцеплял на вилку бобы, и он замирал в трансе, не донеся вилку до рта и не сводя с нее обожающего взгляда.

Эта была лишь одна – гротескная – черта Гилберта, ни в коей мере не умалявшая его очарования. Другая выдавала в нем вечного студента. Будучи специалистом по романским языкам, он свободно владел французским, испанским и итальянским. Его переводы с французского: Валери, Бодлера, Верлена, Рембо, Фернандеса – были великолепны. Он первым в нашей стране перевел пьесы Лорки. Их популярность у нас началась именно с его перевода «Кровавой свадьбы». Переводил он также Рамона Сендера, может быть величайшего из романистов поколения Лорки. Самым большим достоинством переводов Гилберта было не только глубокое знание испанского и французского языков, которое он продемонстрировал, но, что куда важнее, прекрасный родной язык. Хотя я не думаю, что у него есть опубликованные переводы с итальянского, он часто говорил со мной о таком писателе, как Джакомо Леопарди. Трудно сказать, о ком он отзывался с большим пылом, о Леопарди или о семействе Дузе. А еще он с трогательным увлечением говорил о Чарли Чаплине и о своем однофамильце Джоне Гилберте – особенно о последнем, о его игре в «Плоти и дьяволе».

Тут я должен заметить, что Гилберт начал свою карьеру, кажется в Колорадо, актером на роль молодого человека. А может, это было в Канзасе. Гилберт смертельно ненавидел Канзас. Он там родился и вырос, но по его рассказам об этом штате невозможно было понять, когда это было, в нынешней его инкарнации или предыдущей. Актерская закваска сидела в нем крепко, и даже во времена Андерсон-Крика в нем проскальзывали повадки человека, умеющего привлечь внимание публики. Они проявлялись, когда он трезвел, тогда в его голосе появлялась уверенность, тогда он надевал костюм в черно-белую клеточку, напояживал волосы, клал в нагрудный кармашек слегка надушенный платок, наводил глянец на башмаках, потягивался, расправляя мышцы, и вальяжно расхаживал по воображаемому помосту воображаемой бильярдной, где проводил воображаемые часок-другой с Падеревским. Когда он вновь обретал форму, то обычно возвращался к незаконченному разговору о том, как несравненно хороши Селин, Достоевский или Вассерман. Ежели он был настроен саркастически, то брался за Андре Жида и топил его в ванне с серой и аммиаком. Однако я несколько отвлекся...

Музыка! Как-то ночью, часа в два, дверь нашей хибары с треском распахнулась, и не успел я сообразить, что происходит, как кто-то яростно впился мне в горло. Сомнений не было – это не сон. Потом голос, пьяный голос, который я сразу узнал, рыдающий и жуткий, проорал мне в ухо:

– Где эта проклятая штуковина?

– Какая штуковина? – прохрипел я, пытаюсь расцепить пальцы, сомкнувшиеся вокруг моего горла.

– Радиоприемник! Где ты его прячешь?

Он отпустил меня и бросился обшаривать дом, расшвыривая все вокруг. Я вскочил с кровати и попытался его утихомирить.

– Ты ведь знаешь, у меня нет радио! – кричал я. – Что с тобой происходит? Какая муха тебя укусила?

Не слушая меня, он продолжал искать, разбрасывая вещи, яростно отдирая ногтями обои, круша посуду и кухонную утварь. Ничего не найдя, он вскоре остановился, все еще сыпля яростными проклятиями. Я уже думал, что он повредился умом.

– В чем дело, Гилберт? Что случилось? – говорил я, держа его за руку.

– *В чем дело?* – завопил он, и я даже в темноте почувствовал, как он прожигает меня взглядом. – *В чем дело?* Сейчас узнаешь, идем! – Он схватил меня за руку и потащил на улицу.

Пройдя несколько ярдов в сторону своего дома, он внезапно замер и, вцепившись в меня, крикнул:

– *А теперь?* Теперь ты слышишь?

– Что я должен слышать? – спросил я невинно.

– *Музыку!* Я просто с ума схожу: одна и та же музыка все время.

– Может, это в *твоем* доме она играет, – предположил я, хотя был совершенно уверен, что музыка звучит в нем самом.

– Сейчас ты узнаешь, где она играет, – сказал Гилберт, ускоряя шаг и таща меня за собой, как дохлую лошадь.

Я слышал, как он, шумно дыша, что-то бормочет о моем «коварстве».

Подойдя к своему дому, он бросился на колени и принялся шарить, по-собачьи принюхиваясь, в кустах и под крыльцом. Чтобы не отставать от него, я тоже стал на четвереньки и принялся искать спрятанный приемник, передающий Пятую симфонию Бетховена. Обшарив таким манером все вокруг дома и под ним, насколько доставали руки, мы разлеглись на земле, глядя на звезды.

– А музыки-то больше не слышно, – сказал Гилберт. – Обратил внимание?

– Ты чокнутый, – ответил я. – Музыка звучит всегда, ни на миг не смолкая.

– Скажи честно, – попросил он примирительно, – где ты его спрятал?

– Ничего я не прятал, – сказал я. – Музыка там... в ручье. Разве не слышишь?

Он перевернулся на бок, приложил ладонь к уху и стал напряженно вслушиваться.

– Ничего не слышу, – признался он.

– Странно. *Прислушайся!* Вот, теперь это Сметана. Ты знаешь эту его вещь... «Из моей жизни». Слышно так ясно, просто каждую ноту.

Он перевернулся на другой бок и снова приложил ладонь к уху. Через несколько секунд лег на спину и улыбнулся улыбкой ангела. Потом рассмеялся и сказал:

– Теперь я понял... мне это снилось. Мне снилось, что я дирижирую большим оркестром...

– Но ведь такое не впервые с тобой происходит, – прервал я его. – Это-то как ты объяснишь?

– Пьянство, – ответил он. – Слишком много я пью.

– Нет, не в том дело, – сказал я. – Я слышу музыку точно так же, как ты. Только я знаю, откуда она берется.

– Откуда же? – поинтересовался Гилберт.

– Я уже говорил... из потока.

– Хочешь сказать, что кто-то спрятал ее в ручье?

– Совершенно верно. – Я сделал должную паузу и добавил: – И знаешь кто?

– Нет.

– Господь!

Он принялся хохотать как ненормальный.

– Господь! – вопил он. – Господь! – потом все громче и громче: – Господь! Господь! Господь! Господь! Нет, вы только послушайте его! Ну и ну!

Он корчился от смеха. Пришлось встряхнуть его как следует.

– Гилберт, – сказал я со всей мягкостью, на которую был способен, – если не возражаешь, я пойду спать. А ты спушись к ручью и убедись сам. Это под мшистой скалой, что слева, подле моста. И никому не говори об этом, ладно?

Я встал и тряхнул ему руку на прощанье.

– Помни, – повторил я, – никому ни звука, ни единой душе!

Он приложил палец к губам и прошептал:

– Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!

* * *

Все, что из ряда вон, идет, как говорят в округе, из Андерсон-Крика. И виной тому, как пить дать, «художники». Ежели от заблудившейся коровы таинственным образом останутся одни кости, значит ее забил и разделал кто-нибудь из Андерсон-Крика. Ежели проезжий автомобилист собьет на шоссе оленя, то он всегда отдает тушу какому-нибудь нищему художнику в Андерсон-Крике, но никогда мистеру Брауну или мистеру Рузвельту. Ежели как-нибудь ночью развалят старую брошенную хибару и унесут двери и оконные рамы, то это непременно дело рук кого-нибудь из шайки обитателей Андерсон-Крика. Если кто-то устраивает купание под луной в серных источниках – *совместное*, мужчин и женщин, купание, то это опять шайка из Андерсон-Крика. Такова, по крайней мере, легенда. Как однажды заметил в моем присутствии один из старожилов: «Да это просто шайка гермафродитов!»

Ну и конечно же, первая в Биг-Суре летающая тарелка появилась над Андерсон-Криком. Малый, от кого я это услышал, сказал, что все случилось ранним утром. Похожа она была больше на дирижабль, чем на абажур. Подлетела к берегу, видно ее было совершенно отчетливо, потом удалилась в сторону моря, но дважды возвращалась. Несколько дней спустя тарелку видели еще дважды – раз на рассвете, а другой раз в сумерках – люди, купавшиеся в серных источниках. А как-то, когда я крепко спал, меня разбудил мой приятель Уокер Уинслоу, чтобы я тоже стал свидетелем странного явления, происходившего прямо над океанским горизонтом. Мы наблюдали странные перемещения какого-то объекта, напоминавшего звезды-близнецы, которые кружили над невидимой точкой минут двадцать, после чего ослепительно вспыхнули и пропали. Но на другой день радио Побережья сообщило о происшедшем как о появлении летающих тарелок. После этого многие мои друзья рассказывали о летающих тарелках, об огнях, следовавших за их машиной, и тому подобном. Никто из них не был ни пьяницей, ни наркоманом. Некоторые и вовсе относились откровенно скептически ко «всему этому помешательству». Один из самых впечатляющих рассказов о тарелках я слышал от Эрика Баркера, жившего тогда на ранчо Хант близ Литл-Сура. Среди бела дня, часа в четыре пополудни, он увидел шесть небольших дисков, круживших над его головой на большой, но не так уж чтобы необыкновенной скорости. Потом они улетели к морю. Эрик божился, что это не были какие-нибудь там канюки, воздушные шары или метеориты. К тому же он определенно не принадлежал к тем, кому «мерещится всякое». Несколько недель спустя свидетелем подобного феномена стала женщина, приехавшая из Кармела к кому-то погостить. Увиденное так потрясло ее, что с нею едва не случилась истерика. Том Соьер и Дороти Уэстон рассказывали, что, возвращаясь ночью из Монтерея, видели огоньки, пляшущие перед их машиной. Представление длилось больше пяти минут, а потом повторилось еще раз. Эфраима Доунера, человека донельзя земного, которого на мякине не проведешь, таинственные сверкающие огоньки сопровождали больше пяти миль, когда он однажды вечером шел от нас к себе домой. Его жена и дочь были с ним и подтвердили его слова.

В Андерсон-Крике некогда упражнялся Герхарт Мюнх – на стареньком пианино, которое Эмиль Уайт у кого-то одолжил для него. Время от времени Герхарт давал нам концерт, все на тех же «расстроенных» клавикордах. Автомобилисты часто останавливались на несколько

минут у дома Эмиля послушать игру Герхарта. Когда Герхартом овладевала черная меланхолия и мысли о самоубийстве, я убеждал его (всерьез) вытащить пианино из дома, поставить возле шоссе и играть. Я рассчитывал, что, если он будет делать это достаточно часто, какой-нибудь проезжий импресарио предложит ему концертное турне. (Герхарт известен по всей Европе своими фортепьянными концертами.) Но Герхарт так и не клюнул на мою идею. Конечно, в этом было бы что-то вульгарное и показушное, но американцы падки на подобные вещи. Представьте, какая это была бы реклама, если б кто предприимчивый увидел, как он бренчит на обочине все десять скрябинских сонат!

Но вот что я хочу сказать об Андерсон-Крике – не касаясь «дома, который построил Джек», с душем и туалетом и обошедшегося меньше чем в три сотни долларов... Здесь живут не одни только писатели и художники, но еще любители пинг-понга и шахмат. (Кстати, в Андерсон-Крике я вновь открыл для себя любопытную книгу, написанную китайцем, о связи между стратегией, примененной японцами в сражении при Порт-Артуре, и китайскими шахматами. Чрезвычайно любопытная книга, если и не единственная в своем роде, как «И цзин», или «Книга перемен», о которой Кайзерлинг отозвался как о самой необыкновенной из когда-либо написанных книг, то, во всяком случае, стоящая, чтобы ее пролистать.) Для начала хочу сказать, что я играю в шахматы с восьмилетнего возраста. Должен сразу оговориться, что за последние пятьдесят пять лет я мало продвинулся в этой игре. Иногда, после разговоров с таким знатоком шахмат, как Эфраим Доунер, или после рассуждений Нормана Майни о военной стратегии, во мне снова разгорается интерес к игре. Последняя такая вспышка случилась после разговора с Чарли Левицки из Андерсон-Крика.

Чарли – один из тех приятных, уступчивых, милых людей, которые превосходно играют во все, что угодно, человек, который играет из любви к игре, а не просто ради выигрыша. Он сыграет с тобой во все, что захочешь, – и выиграет. И не потому, что он старается непременно взять верх, он просто не может не выиграть. После того как мы с ним сыграли несколько партий, он как-то предложил, для пущей интриги, сразу сдать мне королеву. «Королеву и любую другую фигуру, какую хочешь», – сказал он. И конечно, он опять легко выиграл, я даже опомниться не успел. Я был совершенно обескуражен. На другой день я рассказал об этом случае моему другу Перле, гостившему тогда у нас, и чуть не свалился со стула, когда он предложил: «Давай сыграем, у меня будет королева с ладьей и больше ничего! Все пешки отдам тебе – и выиграю». И он выиграл, ей-богу! Причем три раза подряд. Подумав, что в таком самоубийственном пожертвовании фигур скрывается некое преимущество, я сказал: «А теперь я отдам тебе все пешки». Что и сделал и в десять ходов проиграл партию.

Мораль сей истории такова: всяк сверчок знай свой шесток!

3. История Камы

Крох Коннектикут – так звали главного героя истории с ежедневным продолжением, которую придумал Пол Ринк для детей Партингтон-Риджа. Она родилась сама собой, эта история, однажды утром, когда он и дети ждали школьный автобус. По слухам, это была сказочная история, которую Пол умудрился рассказывать больше года.

Когда я услышал это имя – Крох Коннектикут, – меня взяла зависть. Насколько же оно лучше какого-нибудь Айзека Понюшки или Сола Белая Горячка! Неужто, гадал я, это собственное его изобретение?

Этот Крох Коннектикут так раззадорил меня, что я тут же начал свою историю с продолжением, чтобы развлекать по вечерам за обедом собственных детей. Моя история была о маленькой девочке по имени Кама. Так звали реальную девочку, дочь Мерла Армитейджа. Мерл с семьей как-то гостил у нас, и его маленькая дочка, ровесница моей Валентайн, очаровала буквально всех. Очень красивая и сдержанная, она была похожа на индийскую принцессу. Она уехала, и еще несколько недель я только и слышал ото всех: Кама, Кама, Кама.

Однажды вечером за обедом Вэл спросила меня, где Кама. («В эту минуту».) Еда была превосходна, вино – из лучших, обычные разногласия отсутствовали. Я был в отличном настроении.

– Где Кама? – переспросил я. – Ну, думаю, она в Нью-Йорке.

– А где в Нью-Йорке?

– Скорее всего, в «Сент-Регисе». Это такой отель. – (Я назвал его «Сент-Регис»,¹⁹ потому что мне показалось, что это звучит красиво.)

– А что она там делает? Она там со своей мамой?

Неожиданно меня осенило. Почему бы не побаловать их историей о приключениях хорошенькой маленькой девочки, которая живет одна-одинешенька в шикарном отеле посреди Нью-Йорка? Решено! Я принялся рассказывать, и история эта, чего я не мог предвидеть, растянулась на несколько недель.

Само собой разумеется, они захотели, чтобы я подавал им это блюдо *каждый* раз, когда мы садились за стол, а не только на обед. Но я мгновенно дал отпор. Я сказал, что *если они будут вести себя прилично* – что за мерзкое выражение! – тогда я буду продолжать рассказ каждый вечер, за обедом.

– *Правда, каждый вечер?* – спросил Тони с непонятным волнением.

– Да, каждый вечер, – повторил я. – То есть *если будете вести себя прилично!*

Паиньками они, конечно, от этого не сделались. Да и какие дети способны на такой подвиг. А я, конечно, не рассказывал каждый вечер, как обещал, но не потому, что они плохо себя вели.

История всякий раз обрывалась в тот момент, когда Кама нажимала кнопку лифта. По какой-то причине этот лифт – полагаю, в «Сент-Регисе» есть лифты! – заинтриговал их больше, чем любая другая деталь моих описаний мест, где происходили события, и самих событий. Иногда подобный интерес к лифту раздражал меня, потому что история продвигалась все дальше и я гордился тем, какие невероятные ситуации придумываю. Тем не менее всякий раз приходилось начинать с того, что Кама нажимает кнопку лифта.

(«Пусть она опять поедет на лифте, папочка!»)

Но одного они никак не могли постичь – как это Кама, которая была просто маленькой девочкой, сама со всем справлялась в таком огромнейшем городе, как Нью-Йорк. Конечно, я

¹⁹ Регис (*regis*) – царский (*лат.*).

же и заронил в них сомнение, расписав, как выглядит Нью-Йорк с высоты птичьего полета. (Тони никогда не был дальше Монтерея, а Вэл лишь однажды побывала в Сан-Франциско.)

– А много людей в Нью-Йорке, папочка? – не уставал спрашивать Тони.

На что я не уставал отвечать:

– Миллионов десять, наверно.

– Это очень много, да? – делал он предположение.

– Еще бы! Ужасно много! Тебе до стольких не сосчитать.

– Спорим, там сто миллионов людей, в Нью-Йорке? Тыща миллионов миллионов!

– Точно, Тони. Ты выиграл.

Тут вмешивается Вэл:

– А вот и не выиграл. *Нету* там ста миллионов людей, в Нью-Йорке, правда, папочка?

– Ну конечно правда!

И, чтобы положить конец спору...

– Послушайте, никто точно не знает, сколько народу живет в Нью-Йорке. Можете мне поверить. Так на чем мы все-таки остановились?

Раздавался чей-нибудь голосок:

– Она завтракает в постели, ты что, забыл?

– Ага, она как раз позвонила коридорному, чтобы сказать, чего ей хочется на завтрак. А ему еще надо подняться на лифте, да, пап?

Я, конечно, наделил Каму самыми изящными, утонченными манерами. Будь она в реальной жизни такой, какой я ее описал, отец отрекся бы от нее. Но для Вэла и Тони она была само изящество. Та еще штучка, если вы знаете, что я имею в виду.

– А как это, папочка, она всегда говорит, когда мальчик стучится в дверь?

– *Entrez, s'il vous plaît!*²⁰

– Это французский, да, пап?

– Верно, это французский. Ведь Кама умела говорить на нескольких языках, ты разве не знал?

– На каких?

– Испанском, итальянском, польском, арабском...

– Это не язык!

– Что – не язык?

– *Арабски.*

– Ладно, парень, а что же это по-твоему?

– Птичка... или что-нибудь еще.

– Никакая *не* птичка, правда, папочка? – пищит Вэл.

– Это язык, арабский, – сказал я, – но на нем никто не говорит, кроме арабов.

(Ничего нет лучше, чем кормить детишек точными сведениями прямо с колыбели.)

– Вообще-то, нам не очень интересно, как она говорила, – заявляет Вэл. – Рассказывай дальше! Что она делала после завтрака?

Хороший ход. Я сам не представлял, что Кама собирается делать после завтрака. Нужно было что-то придумать, и побыстрее.

Пожалуй, подойдет поездка на автобусе. По Пятой авеню до зоопарка в Бронксе. На зоопарк должно уйти вечера три...

Рассказ о том, как Кама приняла душ и оделась, звонком вызвала горничную, чтобы та причесала ее и так далее, потом позвонила управляющему, чтобы справиться, какой автобус идет к зоопарку, и, самое важное, дождалась, пока лифт поднимется на ее пятьдесят девятый этаж, занял уйму времени и потребовал от меня немалой изобретательности. Когда Кама нако-

²⁰ Войдите, пожалуйста! (*фр.*)

нец вышла из отеля, одетая как старлетка и готовая к осмотру достопримечательностей, я уже начал выдыхаться. У меня было одно желание – быстрее доставить ее к зоопарку, но не тут-то было, им непременно хотелось знать, что из увиденного понравилось Кама больше всего (она сидела на втором этаже), пока автобус медленно двигался по Пятой авеню.

Я старался изо всех сил, описывая ненавистные мне улицы и виды. Но начал я не с Пятой десятой девятой улицы, а с Флэтайрон-билдинг на углу Двадцать третьей и Бродвея. Чтобы быть совсем уж точным, я начал с офиса «Вестерн Юнион», моей последней штаб-квартиры. Должен признаться, на них не произвели особого впечатления мои слова о том, что в тот день, когда я навсегда покинул контору, для меня началась новая жизнь и я шел по Бродвею, чувствуя себя как раб, обретший свободу. Им хотелось видеть магазины и магазинчики, вывески, толпы народа; им хотелось знать все о киосках на Таймс-сквер, торгующих фруктовым соком, в которых за монетку в десять центов можно получить высокий стакан вкуснейшего ледяного сока из всевозможнейших фруктов. (В Калифорнии, земле молока и меда, орехов и фруктов, нет подобных киосков.)

Между тем Кама, сидя рядом со словоохотливой старушкой с пакетом земляных орехов, возбужденно смотрит по сторонам. Старушка обращает ее внимание на самые интересные места, мимо которых они проезжают, а Кама помогает ей опустошать пакет. «Береги кошелечек, – говорит пожилая дама. – В Нью-Йорке полно воров».

– Ты тоже, давно еще, был воров, да, пап? – говорит Тони.

Делаю вид, что не слышу, но от него так просто не отделаешься.

– Нет, ты был в тюрьме и сбежал, проделал дыру в стене, – говорит Вэл. – Это было в Африке, когда ты был в Иностранном легионе, правда же?

– Ну конечно, Вэл.

– Но все-таки ты *был* воров, ведь был же, пап?

– Как тебе сказать, и был и не был. Я был конокрадом. А это немножко другое дело. Я никогда не крал денег у детей.

– Ага, вот видишь, Вэл!

К счастью, мы проезжали как раз мимо Рокфеллеровского центра. Я показал им на каток, где было много народу.

– Почему в Калифорнии вода никогда не замерзает? – спросил Тони.

– Потому что здесь никогда не бывает достаточно холодно. – Это был легкий вопрос.

Центральный парк потряс их. Такой огромный, такой красивый. Я ничего не сказал им о полицейских, которые шарят по ночам в кустах в поисках любовников, страждущих уединения. Вместо этого я рассказал, как ежедневно по утрам катался на лошади, прежде чем отправляться на работу.

– Ты обещал нам лошадку, помнишь?

– Да! Когда ты ее купишь?

Проезжая мимо старого особняка на правой стороне улицы, я вспомнил о тех днях, когда, курьером «Айзек Уокер и сыновья», разносил костюмы и бывал в этом неприветливом месте. Вспомнил и о старом Хендриксе, жившем одиноко и окруженном лишь свитой ливрейных лакеев. И до чего ж старый мошенник был брюзглив, даже когда не досаждала больная печень! Я вспомнил и о семействе Рузвельтов, о том, как они: папаша Эмлин и трое его сыновей, все банкиры, шагали в ряд каждое утро, зимой и летом, в дождь и ведро, по Пятой авеню, направляясь к Уолл-стрит, а вечером после «работы» обратно. В руках – трости, но без пальто, без перчаток. Прекрасно, когда можешь позволить себе каждый день вот так совершать променады. Мои «променады» по Пятой авеню были совершенно другого рода. Я скорее шнырял туда и обратно, чем «дышал воздухом». И конечно, не помахивал при этом тросточкой.

В тот вечер я прервал свой рассказ у входа в зоопарк. Начиная очередную главу, я забыл, что оставил Каму в тот момент, когда она искала слонов. По рассеянности я направил ее в Бат-

тери, к Аквариуму. (Во времена моей работы на «Атлас-Портленд семент компани» Аквариум был мне постоянным прибежищем. Поскольку поесть было не на что, я проводил время ленча в наблюдении за жизнью морских обитателей.) Так вот, только я подвел детей к каракатицам, как Вэл вдруг вспомнила, что Кама была в зоопарке. Пришлось возвращаться в зоопарк, где мы бродили не каких-нибудь три или четыре вечера, а почти семь. По правде сказать, я уж думал, мы никогда не освободимся от волшебного притяжения зверинца.

Так это и продолжалось, от приключения к приключению, включая путешествие на пароме к Статен-Айленду (обиталищу проклятых) и другое путешествие – на Бедлоу-Айленд, где мы поднялись на смотровую площадку по лестнице внутри статуи Свободы. (Соответственно, следовало отступление на тему маленькой статуи Свободы на мосту де Гренель в Париже.) Вечер за вечером катались мы по Нью-Йорку, кружили и возвращались, и время от времени ездили на Кони-Айленд или Рокавей-Бич. Иногда там было лето, иногда зима; они, похоже, не замечали внезапных смен сезонов.

Изредка их интересовало, откуда Кама берет все те деньги, что тратит каждый день. Я объяснял (со знанием дела), что ее отец был богачом и передал некую сумму хозяину отеля с тем, чтобы тот снабжал Каму деньгами, когда увидит, что они ей нужны.

– Но не больше двух долларов зараз, – добавил я.

Тони:

– Это куча денег, да, пап?

– Да, для маленькой девочки это большие деньги. Но с другой стороны, Нью-Йорк очень дорогой город. – Я не осмеливался сказать им, что некоторые маленькие девочки, бывает, покупают на деньги своих богатых родителей.

– А ты всегда даешь нам только четвертак, – печально сказала Вэл.

– Это потому, что мы живем не в городе, – парировал я. – На что бы ты здесь потратила деньги?

– Здесь тоже можно потратить деньги, – сказал Тони. – Я раз потратил целый доллар, когда мы были в парке.

– Да, а потом болел, – заметила Вэл.

– Я не люблю четвертаки, – сказал Тони. – Я люблю центы.

– Прекрасно, – сказал я. – В следующий раз, когда попросишь четвертак, я дам тебе центы.

– Сколько?

– Двадцать пять.

– Это ведь больше четвертака, да?

– Намного больше, – ответил я. – Особенно для маленьких мальчиков.

Почувствовав, что начинаю иссякать, я решил отправить Каму самолетом к родителям, которые жили в штате Нью-Мексико. Я подумал, что дети будут потрясены, увидев с воздуха чудеса нашего огромного и прекрасного континента. Поэтому я отправил Каму самолетом одной дешевой авиакомпании, который совершает частые посадки в самых невообразимых местах, чтобы забрать попутный груз.

Ясным утром Кама вылетела из аэропорта Ла Гардиа; самолет держал курс на запад. Я объяснил, что настоящий Запад, Запад с большой буквы, начинается после того, как пересечешь Скалистые горы. Дети, кажется, не очень хорошо поняли, что я имел в виду, поэтому я сказал: «Настоящий Запад – это Дальний Запад... где живут ковбои, индейцы и гремучие змеи». Для них это было равнозначно Калифорнии, особенно гремучие змеи. В любом случае, как я объяснил, в Денвере Каме придется пересесть на другой самолет. «Денвер находится в стороне от маршрута, – сказал я, – но самолет должен там приземлиться, чтобы забрать живой труп».

– *Живой труп?* – завопила Вэл. – *Это что?*

– Это труп, который еще не совсем остыл. – Я тут же увидел, что мое объяснение ничего не объясняет. – Ладно, не будем об этом, – сказал я и заставил самолет сесть посреди толпы индейцев, обряженных по полной форме, в боевой раскраске, с перьями, колокольчиками, барабанами, – в общем, все как положено.

Почему индейцы? Во-первых, подальше от живого трупа, с которым я дал маху, а во-вторых, чтобы Каме оказали восторженный прием истинные сыны Дальнего Запада. Я рассказал им, что папа Камы, Мерл, одно время жил с индейцами, что он привозил – именно сюда – Карузо, Тетразини, Мелбу, Титту Руффо, Джильи и других знаменитостей, чтобы те тоже познакомились с ними.

– Это кто такие? – пожелала уточнить Вэл. – Эти Казини и Руффо?

– Прости, забыл сказать. Это все знаменитые оперные певцы.

– А, мыльная опера, знаю! – протянул Тони.

– Ничего не понимаю, – сказала Вэл.

– Я тоже, кроме того, что папа Камы, этот Мерл... ты ведь помнишь его!.. он одно время был импресарио, и тоже очень знаменитый.

– Это все равно что император?

– Почти, дорогая, но не совсем. Импресарио – это такой человек, который подыскивает певцам место, где они могли бы выступить, – например, Карнеги-холл или Метрополитен-опера.

– Ты нас туда не водил! – раздался тонкий голосок Тони.

– Импресарио, – продолжал я, проигнорировав упрек, – зарабатывает тем, что возит знаменитых певцов по всему миру. Ему платят за то, что он находит им работу, поняли? – (Они, конечно, не поняли, но приняли на веру, что такое бывает.) – Вот смотрите, – сказал я, надеясь объяснить им все *ясно и доступно*, – предположим, что ты, Вэл, когда-нибудь станешь великой певицей. (Я всегда говорил, что у тебя красивый голос, так ведь?) Ну вот, тогда тебе нужно будет искать концертный зал, чтобы там петь, правильно?

– Зачем?

– Как – зачем? Чтобы люди могли слушать, как ты поешь.

Она кивнула, как бы соглашаясь, но я видел, что она по-прежнему пребывает в замешательстве.

– А не могла бы я просто петь по радио? – спросила она.

– Конечно могла бы, но сначала кто-то должен тебя туда устроить. Не всякому удастся попасть на радио.

– А они всегда путешествовали вместе? – спросил Тони.

– Когда? – не понял я.

– Когда они ездили по всему миру, как ты говорил.

– Естественно! Конечно вместе! Так Мерл и познакомился с зулусами и пигмеями...

– Они для зулусов тоже пели? – Тони был просто в восторге. Он помнил о зулусах, потому что одна из моих почитательниц, женщина, живущая в Претории, прислала ему подарок: зулусское ружье – деревянное – и много других удивительных зулусских вещей. Я старался тогда изо всех сил, изображая зулуса. Замечательные люди эти зулусы. Не каждый день подворачивается возможность замолвить о них доброе слово.

Однако... К этому времени они совершенно забыли, где мы остановились. Я тоже.

М-да, вечно эта Африка. А почему нет? («Доктор Ливингстон, полагаю?») Последовала восхитительная поездка в легкой коляске на золотые рудники и тщетные поиски потерянного царства Савы. Мы добрались до самого Тимбукту – опасное приключение, во время которого не раз приходилось спасаться бегством от грозных, кровожадных туарегов. Больше всего их поразила пустыня, может, потому, что ей не было конца; а еще потому, что нас мучила ужасная жажда, а поблизости не было ни капли воды. То и дело нам мерещились города, висящие в небе

вверх ногами. Это тоже было восхитительно. Очень. И наконец мы оказались в царстве зверей: львы и тигры, слоны, зебры, страусы нанду, газели, жирафы, мартышки, шимпанзе, гориллы... Они все вместе передвигались по саванне, молча, мирно, как участники хора. Места хватало всем, даже сверчкам и кузнечикам.

Мы бы до сих пор продолжали наше путешествие, не начни Пол Ринк свою бесконечную байку о Крохе Коннектикуте. Большой выдумщик, Пол лучше меня знал, как сделать историю увлекательной. Он лучше меня умел держать слушателей в напряжении. И потом, Крох Коннектикут целиком вышел из «Супермена». Что же до моего рассказа, то ему место было в архиве, вместе с Конан Дойлом, Райдером Хаггардом и им подобными. Что делать Супермену в джунглях Африки? А Крох Коннектикут, судя по тому, что я сумел о нем разузнать, был на целую голову выше Супермена. Так что, как и следовало ожидать, я потерпел поражение. Но был счастлив, приобретя подобный опыт. Благодаря ему я кое-чему научился. Научился одной пустяковой вещи, которая помогает удерживать внимание даже взрослых слушателей. Суть ее такова: нельзя скормить сразу все. Даже льву приходится отрывать куски от добычи. Писателю следовало бы научиться этому с самого начала, но писатель – непонятный зверь: ему непременно надо учиться на собственных ошибках.

И еще... Когда, к примеру, мой сын Тони протестует, потому что я хочу отобрать у него комикс ужасов, когда он при этом восклицает: «Но маленькие мальчики любят иногда почитать про убийства!» – нельзя принимать подобные замечания всерьез. Конечно, он еще не умеет *читать*, он смотрит картинки, а картинки эти, как вам известно, очень реалистичны. Но одно дело разглядывать книжки с картинками (комиксы и ужастики), а другое – смотреть кровавый фильм вместе с пятилетним ребенком, который заявляет, что ему иногда нравится убийство. *Детям не нравятся убийства*. По крайней мере, не в том виде, как это преподносят наши киногерои. Они обожают таких рыцарей, как король Артур и сэр Ланселот, о чем я узнал с радостью и изумлением. Эти герои честно сражаются. Они не разбивают людям головы камнем или железной трубой. Не бьют поверженного противника башмаком в зубы. Они атакуют с длинным сверкающим копьём наперевес, а когда используют широкий меч, являют пример как силы, так и искусства владения оружием. Обычно рыцари возвращают меч, если в разгар схватки выбьют его из рук противника. Рыцари, во всяком случае в старинные времена, не опускались до того, чтобы, схватив разбитую бутылку, уродовать человеку лицо. Они сражались в соответствии с кодексом чести, а даже пятилетних детей не может не восхищать романтический ореол, окружающий кодекс чести.

Может быть, я не прав. Может быть, городским детям, даже в таком нежном возрасте, нравятся гангстерские фильмы и все, что стоит за ними. Но сельским...

4. Мания акварели

Время от времени, особенно когда меня не донимают гости, я предаюсь мании акварели. «Мания», так я это называю, началась в 1929 году, как раз за год до того, как я отправился во Францию. За эти годы я написал около двух тысяч акварелей, большую часть которых раздал.

Я уже не раз упоминал, но стоит повторить, что желание взять в руки кисть родилось у меня однажды ночью, когда я бродил по пустынным улицам Бруклина. Со мной был приятель О'Риган. Оба мы были без гроша в кармане и голодны как волки. (Мы и отправились побродить, в надежде встретить какую-нибудь «дружескую физиономию».) Мы проходили мимо универмага и застыли перед акварелями Тёрнера, вывешенными в витрине. Репродукциями, разумеется. Так это началось...

Я никогда не проявлял способности к рисованию; более того, в школе меня считали настолько бездарным, что обычно разрешали пропускать уроки рисования. Я по-прежнему плохо рисую, но теперь это меня больше не волнует. Всякий раз, беря в руки кисть, я чувствую себя счастливым; ища нужный образ, я насвистываю и что-нибудь мычу, пою и кричу. Иногда откладываю кисть и отплясываю джигу.

А еще я разговариваю с собой, когда пишу акварели. (Полагаю, чтобы подбодрить себя.) Да, говорю без умолку. То есть как ненормальный. Друзья часто признаются: «Люблю заходить к тебе, когда ты рисуешь, настроение от этого поднимается». (Когда я пишу книгу, все по-другому. Тогда я обычно бываю углублен в себя, рассеян, молчалив, а то и мрачен – ни добрый хозяин, ни добрый друг, ни даже «объект» для общения.)

Я говорю, что все началось с акварелей Тёрнера. Но Жорж Грос тоже в немалой степени причастен к этому. За месяц или за два до того, как мы остановились перед витриной упомянутого универмага, Джун, моя жена, привезла из Парижа альбом Жоржа Гроса, называвшийся «*Ессе Ното*».²¹ На переплете был его автопортрет. Тем же вечером, когда мы с О'Риганом вернулись ко мне из кабака, я сел копировать этот автопортрет. Сходство, которого удалось достичь, настолько воодушевило меня, что я тотчас же позабыл все свои страхи и клятвы никогда не братья за карандаш и кисть. Только год спустя я попал в Париж, где вскоре познакомился с Хилэром Хайлером и Гансом Райхелем. (Оба, и Хайлер, и Райхель, пытались помогать мне советами относительно техники акварельной живописи; их усилия, естественно, не увенчались успехом, потому что я не способен «усваивать уроки».) Чуть позже я познакомился с Эйбом Раттнером; я смотрел, как он работает, и это вдохновило меня на продолжение собственных попыток. Вернувшись в Америку – в 1940 году, – я устроил несколько выставок, которые не имели особого успеха, кроме одной, в Голливуде, где почти все мои работы были раскуплены! А в Беверли-Глен, в «оранжерее» (Джон Дадли стоял у меня за спиной, наблюдая и отпуская критические замечания), где я рисовал спозаранку, произошел – по крайней мере, я так считаю – настоящий прорыв.

Но кому я больше всего обязан своими успехами в живописи, так это моему другу детства Эмилю Шнеллоку, который начинал как рекламный художник, а теперь преподает искусство в Южном колледже для девочек. Возвращаясь к 1939 году: это Эмиль ободрял, направлял и вдохновлял меня. Теперь забавно вспоминать, как он, бывало, говаривал: «Хотелось бы мне иметь смелость рисовать, как ты, Генри». Имея в виду: так же «неистово и раскованно». Имея в виду: так же полностью игнорируя законы анатомии, перспективы, композиции, динамической симметрии и все прочие. Естественно, интересно рисовать как бог на душу положит, себе в

²¹ Се человек (лат.).

удовольствие и что хочешь. Это не то что в реалистической манере изображать банки с помидорами, молочные бутылки, порезанные на ломтики бананы со сливками или даже ананасы.

Уже в то время Эмиль свободно чувствовал себя в мире искусства. Он любил, приходя ко мне, чтобы дать урок живописи, приносить с собой великолепные альбомы с репродукциями старых и новых мастеров. Бывало, мы весь вечер только и делали, что изучали эти альбомы. Мы даже могли проговорить целый вечер об одной-единственной картине мастера. Чимабуэ, например, или Пьеро делла Франческа. Я тогда был всеяден. Мне нравились, кажется, все художники, и хорошие и плохие. Всюду, где бы я ни жил, стены моей комнаты были покрыты дешевыми репродукциями – Хокусаи, Хиросиге, Бакст, Мемлинг, Кранах, Гойя, Эль Греко, Матисс, Модильяни, Сёра, Руо, Брейгель, Босх.

Мало того, меня невероятно привлекали рисунки детей и душевнобольных. Сегодня, если бы мне пришлось выбирать, – если бы я имел такую возможность! – то я скорее окружил бы себя картинами, созданными детьми и сумасшедшими, чем такими «мастерами», как Пикассо, Руо, Дали или Сезанн. В разное время я пытался копировать картину ребенка или маньяка. Изучив один из «шедевров» Таши Доунер, – ей тогда было семь лет! – я попробовал писать в ее манере, и у меня получился чуть ли не лучший из моих мостов. К тому же он был почти так же хорош, как мост, который Таша в моем присутствии изобразила несколькими движениями кисти. Что же до рисунков душевнобольных, надо (в моем скромном понимании) быть мастером, чтобы хотя бы близко подойти к их стилю и технике. В те дни, когда дзэнни во мне берет верх, я делаю такую попытку – но всегда безуспешно. Чтобы так рисовать, надо по-настоящему сойти с ума!

Иногда я чувствую, что мне не хватает некоторой сумасшедшинки, если не настоящего безумия, когда усердно копирую открытку, поразившую мое воображение. Эти открытки постоянно приходят мне со всех концов света. (Порой я испытываю настоящее потрясение, как, например, в тот день, когда пришла открытка из Мекки с изображением Каабы.) Часто открытки бывают подписаны людьми мне неизвестными, почитателями, живущими в удивительных уголках земли. («Просто почитайте моего „Колосса“. Хотелось бы, чтобы вы побывали там».)

У меня уже собралась удивительная коллекция разнообразных открыток: святые места, небоскребы, порты и гавани, средневековые замки, соборы и башни, китайские пагоды, экзотические животные, великие реки мира, знаменитые гробницы, древние манускрипты, индуистские боги и богини, наряды примитивных племен, восточные народности, руины, старинные кодексы, прославленные нагие красавицы, яблоки Сезанна, подсолнухи Ван Гога, все, какие только можно представить, распятия Христа, звери и джунгли Таможенника Руссо, чудовища («великие люди») Возрождения, женщины острова Бали, самураи Древней Японии, скалы и водопады старинного Китая, персидские миниатюры, городские предместья кисти Утрилло, Леда и лебедь (во всех вариантах), Писающий Мальчик (брюссельский), одалиски Мане, Гойи, Модильяни и, наверно, чаще, чем репродукции картин любых других художников, попадаются чарующие темы Пауля Клее.

Я искренне верю, что больше почерпнул – если вообще что-то почерпнул – в картинах других художников, чем где-то еще. Это как с книгой, я могу смотреть на картину глазами эстета, но также и глазами человека, который еще борется с материалом. Даже плохая живопись – даже реклама – дает, как я обнаружил, пищу для размышлений. Ничто не может быть плохим, если глядишь жадным взглядом (что есть первое условие искусства восприятия). С каким вниманием, сидя в поезде нью-йоркской подземки, изучал я – в те давние дни – складки и морщины на лицах добропорядочных граждан!

Есть ли польза от изучения природы, я не уверен. Всякий скажет вам, что есть. Но я выражаю собственное мнение. Конечно, именно на это я потратил немало времени, особенно с тех пор, как поселился здесь, в Биг-Суре. Сомневаюсь, однако, что, глядя на мои пейзажи (или

морские виды), кто-нибудь поймет, сколько времени и умственных усилий посвятил я матери-природе. Кто-то бывает озадачен, кто-то всплескивает руками (то ли в восторге, то ли в ужасе, никогда не мог этого понять), видя мои композиции, вдохновленные природой. Обычно в них есть что-то чуждое ей, кошмарное, неестественное, что лезет в глаза, как нарыв. Возможно, эти «изъяны» – результат подсознательной попытки внести что-то свое, свой «фирменный знак». Если совсем откровенно, одной природы мне всегда было мало. На картине, конечно. Другое дело, когда я остаюсь с нею один на один, когда гуляю по лесу или по холмам или просто брожу по безлюдному берегу. Тогда природа – это все, а я, то есть то, что осталось от меня, – всего лишь ничтожно малая частица того, на что я смотрю. Все, что открывается взору, – когда вы просто глядите вокруг, не пытаясь обращать особое внимание на что-то конкретное, – бесконечно и вечно. Всегда в таком состоянии души наступает высокое мгновение, когда ты «вдруг видишь». И ты смеешься, что называется, без удержу. Не дарит ли нам Таможенник Руссо такое ощущение всякий раз, как мы смотрим на его картину? Я имею в виду внезапное прозрение и счастливый смех. Почти все «наивные» художники дарят нам это чувство радости и чуда. Когда мы смотрим на картины этих мастеров реальности, обычно всего лишь наивных художников, не обучавшихся премудростям живописи, нас волнует не столько то, как они видели мир, сколько то, как они его чувствовали. Они побуждают нас броситься вперед, чтобы обнять то, что мы видим; они делают мир невыносимо реальным.

Здесь, в Биг-Суре, – только в определенное время года и суток – отдаленные холмы принимают бледный сине-зеленый оттенок; это тот старинный, ностальгический оттенок, который можно увидеть лишь на полотнах старых голландских и итальянских мастеров. Это не только тон и цвет дали, рожденный волшебным растворением света, это таинственное явление, рожденное, так мне хочется думать, определенным взглядом на мир. Его можно видеть прежде всего на полотнах Брейгеля Старшего. Оно поражает в его картине «Падение Икара», где на переднем плане выделяется пахарь за плугом, его одеяние подобно колдовскому наваждению, как подобно колдовскому наваждению море вдалеке.

В продолжение дня случаются два магических часа, о существовании которых я действительно знаю и жду их, в которых, можно сказать, купаюсь с тех пор, как живу здесь. Один – на утренней заре, другой – на вечерней. В оба этих часа бывает то, о чем мне нравится думать как об «истинном свете»: один свет – холодный, другой – теплый, но оба создают атмосферу сверхреальности, или реальности за пределом реальности. Утром я смотрю на море, где по всей дали горизонта тянутся полосы всех цветов радуги, потом на горы, которые лежат вдоль берега, замороженные тем, как отраженный свет зари лижет и греет «спины блаженствующих носорогов». Если появляется корабль, то он вспыхивает и сверкает в косых лучах солнца, слепя глаза. Сразу невозможно сказать, корабль *это* или нет: это больше похоже на игру северного сияния.

Под вечер, когда горы у нас за спиной залиты тем, другим, «истинным светом», деревья и кустарник в каньонах совершенно преображаются. Все становится волосками, и конусами, и зонтами света – каждый лист, ветвь, стебель, ствол видны по отдельности, четко, словно выгравированные самим Создателем. И только потом замечаешь реки деревьев, что летят вниз по склонам! Или это колонны солдат (тяжеловооруженных древнегреческих пехотинцев) штурмуют стены каньона? В любом случае испытываешь неопишное волнение, когда замечаешь космические глубины между деревьями, между стволами, сучьями и ветками, между листьями. Это уже не земля и воздух, но свет и форма – небесный свет, неземная форма. Когда эта пьянящая реальность достигает своего апогея, вступают скалы. Их вид и форма становятся выразительней окаменелых доисторических чудищ. Они облачаются в одежды вибрирующего цвета с металлическими блестками.

Осень и зима – лучшее время года, чтобы увидеть это «откровение», тогда воздух прозрачней, небеса взволнованней, и свет солнца, которое описывает низкий полукруг, производит больший эффект. В этот час, сбрызнутые дождичком, горы окружены смутной каймой, что

колеблется вместе с колеблющимися складками гор. За поворотом холм становится похож на шкуру пастушеской собаки, увиденную в увеличительное стекло. От него веет такой седой стариной, что озираешь горизонт, ожидая увидеть пастуха, стоящего опершись на высокий посох. Вспоминается прошлое, обрывки из читанных в детстве книг: картинки из сказок, первые сведения о мифологии, выцветшие календари и фотографии на кухонной стене, буколические литографии в кабинете человека, что удалял тебе миндалины...

Если мы не обращаемся к природе в начале, мы непременно приходим к ней в трудный час. Как часто, бродя по голым холмам, останавливался я, чтобы рассмотреть поближе прутик, сухой лист, благоухающую веточку шалфея, редкий цветок, уцелевший вопреки убийственной жаре. Или стоял возле дерева, изучая кору, словно никогда прежде не замечал, что деревья покрыты корой и что кора, как и само дерево, живет своей жизнью.

Когда отцветает люпин, и васильки, и полевые цветы, когда лисохвост перестает представлять опасность для собак, когда уходит буйство и изобилие растительности, осаждавшее чувства, тогда начинаешь замечать мириады элементов, которые появляются им взамен, чтобы украсить природу. (Я пишу эти строки, и вдруг слово «природа» кажется мне непривычным, новым. Какое открытие совершает человек, найдя слово, единственное слово, чтобы охватить этот не поддающийся описанию тезаурус всеобъемлющей жизни!)

Иногда я спешу возвратиться домой, мысли и впечатления настолько переполняют меня, что я чувствую необходимость немедленно сделать несколько заметок – себе на утро, когда сяду за работу. Если бы я сразу принялся писать, эти чувства и ощущения растворились бы в лишние подробности. Часто бывает, однако, что среди этих торопливых заметок попадаются дельные, поскольку они представляют собой законченную мысль, зародившуюся месяцы, а то и годы назад. Подобное происходит со мной постоянно, что лишь убеждает меня в том, что «мы» ничего не создаем сами, что «оно» делает это для нас и через нас и что если бы мы смогли по-настоящему настроиться, так сказать, то сделали бы по словам Уитмена – написали собственные Библии. В самом деле, когда эта жуткая «машина мысли» работает, трудность лишь в том, как удержать все, что несетя по волнам. Те же буйство и изобилие, о которых я упоминал, говоря о природе, существуют и в мозгу. Сознание становится джунглями, над которыми курятся испарения.

Бывают другие дни, когда на меня, похоже, находит стих самопоучения, не могу назвать это иначе. Тогда я учу себя искусству видеть все новыми глазами. У меня может быть период, когда я занимаюсь живописью или готовлюсь заняться ею. (Эти периоды все равно что болезнь.) Я устраиваюсь на тропе к дому Ангуло лицом к гигантской ковбойской шляпе над Торре-Каньоном, по бокам у меня мои собаки – они тоже посещают со мной эту школу, – и смотрю, и смотрю, и смотрю на узкие листья травы, глубокую тень у подножия холма, на оленя, стоящего неподвижно, величиной не больше пятнышка, или перевожу взгляд на кипень кружев, которыми море украшает скалу, или на белый пояс пены, сжимающий бока «диплодоков», как я иногда называю наполовину погруженные в воду, звероподобные горы, поднимающиеся с океанского дна, чтобы погреться на солнце. Линда Сарджент совершенно права, говоря, что хребет Санта-Лусиа похож на гермафродита. По форме и очертаниям эти холмы и отроги женственны, по мощи и энергичности – мужественны. Они выглядят очень древними, особенно в свете раннего утра, и все же это, как мы знаем, молодые образования. К счастью, они испытали только воздействие животных, но не человека. И в еще большей степени – ветров и дождей, солнца и луны. Человек только недавно открыл их, и лишь поэтому, быть может, они сохранили свой древний облик.

Вскоре после восхода солнца, когда туман скрывает шоссе внизу, мое ожидание вознаграждается зрелищем, какое редко можно увидеть. Я смотрю вдоль берега в сторону Нипента, моего первого места жительства в Биг-Суре (тогда там стояла единственная бревенчатая хижина), и солнце, вставая за спиной, отбрасывает мою огромную тень на радужный туман

внизу. Я простираю руки, как в молитве, их размах не доступен никакому богу, и в медлительно плывущем тумане летит вокруг моей головы нимб, сияющий нимб, каким мог бы гордиться сам Будда. Говорят, в Гималаях, когда случается подобное явление, верный последователь Будды бросается со скалы – «в объятия Будды».

Но, как и призрачный, неуловимый туман, я тоже плыву медленно. Как это прекрасно – плыть вот так! Все, что я тщательно примечал, старался запомнить, все мои наблюдения улечиваются, когда я покидаю место, где предавался созерцанию, и неторопливо возвращаюсь домой. Улетучиваются, но не исчезают совсем. Их дух остается, сохраняется в тебе неведомо где, и когда они тебе понадобятся, то они явятся, как вышколенные слуги. Если у меня не выходит волна – такой, какую предстала мне в тот миг, когда я «вдруг увидел», – я хотя бы смогу схватить волнистость волны, что чуть ли не еще лучше. Даже если забуду форму определенных листьев, я хотя бы вспомню их зубчики.

Что сводит с ума, так это невозможность уловить тот свет, коим пронизан мир природы. Свет – это единственное, что мы не можем покорить, повторить, подделать. Даже Ван Эйк, Вермеер, Ван Гог смогли дать лишь бледную иллюзию того волшебного сияния. Помню волну восторга, захлестнувшую меня, когда я впервые увидел в Гентском соборе «Мистического агнца» Ван Эйка. Мне кажется, я не видел ничего более близкого божественному свету природы. Это, конечно, был свет, идущий изнутри, – священный свет, трансцендентный свет. Художник добился такого эффекта при помощи некоего приема, блистательнейшего, искуснейшего приема, который, если мы постигнем его, если прочувствуем, – а как может быть иначе? – способен приблизить нас к тому негасимому свету, который ярче всех солнц невыразимо бескрайней Вселенной, в которой мы утонули.

Хочу на минуту вернуться к Таше Доунер. Всякий раз, как я прихожу в отчаяние, будучи не в силах изобразить то, что вижу или чувствую, я неизменно вспоминаю Ташу. Когда речь заходит о лошади, например, Таша может начать с головы или с хвоста – для нее это все равно, – и всегда получается лошадь. То же самое, если она берется за дерево. Начнет ли она с листьев и веток или со ствола, всегда выходит дерево, а не метелка для смахивания пыли и не букет из фольги. Если начинает от левого края, то спокойно ведет кисточку или карандаш поперек листа к правому краю. Или наоборот. Если начинает с середины, рисуя, допустим, дом, то сперва изобразит все двери, окна, трубу и крышу, ступеньки крыльца тоже, а уж потом принимается обустраивать участок, на котором стоит дом. Небо чаще всего рисуется в последнюю очередь, если остается место для неба. А если и не остается, что за важность? Не всегда же нам нужно небо, разве не так? Главное, что между ее мыслями и очень занятыми пальчиками нет разрыва, одно является продолжением другого. Она последовательно движется к конечной цели, плотно заполняя каждый дюйм листа бумаги, и тем не менее в рисунке много воздуха, много аромата, можно дышать, можно наслаждаться. На стенах ее комнаты – множество рисунков цветными мелками, и среди них такие композиции, которые я предпочитаю, как я уже говорил, любой работе Пикассо – и даже Пауля Клее, что еще важнее. Каждый раз, бывая у Доунеров, я с благоговением подхожу к ее рисункам и снова внимательно их разглядываю. И всякий раз обнаруживаю в них что-то новое.

Иногда, просыпаясь утром, я, еще не выбравшись из постели, говорю себе: «Сегодня напишу „сезанна“, ей-богу!» Подразумеваю, что напишу один из тех мимолетных пейзажей, которые на первый взгляд кажутся наброском, намеком. После нескольких душераздирающих попыток понимаю, что в руках у меня вовсе никакой не «сезанн», а всего лишь очередной «генри миллер», иначе-не-назовешь. Ощущая полное свое бессилие, думаю, как было бы замечательно, если б сейчас ко мне заглянул Джек. Джек Моргенрат из Ливермор-Леджа. Иногда бывает настоящим спасением, если можешь задать несколько конкретных вопросов такому опытному другу-художнику, как Джек. (Позволю себе заметить мимоходом, что Джек работает во всех мыслимых техниках: фреска, масло, темпера, акварель, гуашь, цветные мелки, пастель,

тушь – все ему нипочем; а кроме того, он может построить дом, проложить канализацию, починить часы, разобрать мотор – и собрать его снова! – или смастерить такую мышеловку, которая не убивала бы и не калечила мышь, но где она просто сидела бы, пока он не соберется выпустить ее где-нибудь подальше от дома.)

По здравом размышлении понимаю, что Джек не тот человек, который сможет ответить на вопрос из разряда тех, что меня мучают. Начать хотя бы с того, что можно целый день дожидаться от него ответа, если допустить, что он вообще не откажется отвечать. Спрашивать Джека о чем-нибудь все равно что опускать монету в музыкальный автомат. Сперва следует пауза, длящаяся порой целую вечность, во время которой можно услышать, как твой вопрос катится в некий главный механизм для вопросов-и-ответов, упрятанный где-то глубоко в недрах Вселенной. Вечность уходит, как я сказал, пока вопрос достигнет источника информации, и еще вечность, пока ответ проделает весь обратный путь до губ Джека, которые обычно долго шевелятся, прежде чем он его произнесет. Мне нравится в Джеке такая черта. Поначалу я думал, что он видит трудность там, где ее нет, слишком усложняет вопрос, который на деле куда проще. Но вскоре понял, что это не так. Джек ко всему подходит с одинаковой серьезностью. Если показываешь ему покосившуюся дверь, он принимается обследовать ее со всех мыслимых сторон, потом долго размышляет, скребет макушку и наконец выносит вердикт: «Похоже, дело нештучное». То есть тебе придется снести дом, чтобы поправить дверь. Но для Джека снести дом – пустяк. Он снесет и гору, если она преградит ему путь. Из чего следует заключить, что по природе своей Джек, что называется, фундаменталист. Фундаменталист и абсолютист. И, несмотря на это, он уступчив, терпим и снисходителен. Иными словами, аномалия.

К тому же он мудр не по годам. Если он, подобно самой вечности, не торопится думать и действовать, то это потому, что он ощущает себя *живущим* в вечности. Так, попросят ли его поставить забор, вывести сточную трубу, обрезать деревья в саду, выкопать канаву, починить сломанное кресло или сложить стену из кирпича, Джек прежде, чем приступить к делу, долго ходит вокруг с обычным своим видом лунатика-ясновидца, отчего «энергичный» народ просто психует. Но уж когда Джек закончит, все будет исполнено как надо. Будьте уверены. И если вы спрашиваете его о чем-то, то ответ получаете прямой и полный, исчерпывающий, так сказать, ответ.

Когда я с ним познакомился, у меня сложилось впечатление, что он излишне высокого мнения о себе. Особенно относительно своих художественных талантов. Он никогда не говорил прямо, что он, мол, непревзойденный мастер в том или этом, но давал понять, что ушел в этом настолько далеко, что никому (кроме самого Джека!) не удастся его переплюнуть. Частенько в такие моменты я поддавался искушению и, сунув ему карандаш, просил: «Нарисуешь мне шляпу?» На что неизменно следовало что-нибудь вроде: «Какую именно шляпу?» Или: «С прямыми полями или с загнутыми?» И следом: «Лично я думаю, что ты имеешь в виду мягкую, с продольной вмятиной».

Но я веду (в лучшей манере Моргенрата) вот к чему – Джек ответил на множество моих невысказанных вопросов. Его ответы раз и навсегда разрешили некоторые мои сомнения. Мне живопись помогала думать о другом, но Джек, по всегдашнему своему обыкновению, думал о том, что делает живопись живописью. Или, говоря коротко, о том, что делает все таким, каково оно есть. Так, подробно останавливаясь на особенностях работы в той или иной технике, Джек ненавязчиво, настойчиво и убедительно учил меня, что необходимо соответствующим образом думать, дышать, жить. Такой вот бесплатный урок я получал всякий раз – и всякий раз чувствовал себя полным идиотом.

Когда Джек уходит от меня, я неизменно начинаю думать о китайцах, японцах, яванцах, индусах. Об их образе жизни и о том, в чем они видят ее смысл. Преимущественно об элементе искусства, который пронизывает всю восточную жизнь. И о благоговейном отношении, благо-

говейном отношении не только к Создателю, но и к созданию, друг к другу, к животному миру и миру растений, камней и минералов, и к мастерству и таланту, в чем бы они ни проявлялись.

Откуда у Джека этот отблеск древней мудрости, доброжелательности и блаженства? Он не восточный человек, хотя, может быть, близок Востоку – по крови. Он родом из «Польского коридора», как Доунер, Марк Шагал и столь многие поэты, художники и мыслители, избежавшие кнута, раскаленного железа, лошадиных копыт, всех увечий, телесных и душевных, что славяне в садистском упоении практикуют *ad nauseam*.²² Пересаженный в Бруклинское гетто, Джек каким-то образом ухитрился отказаться от обычаев своих предков и привычек нынешних своих соседей, которые уже заражены американским вирусом комфорта и успеха. Он даже отказался от искусства в своей решимости стать свободным, сделать жизнь свою искусством. Да, Джек – один из тех редкостных людей, которые лишены всяческих стремлений, кроме одного – стремления жить правильно. Но и с этим своим стремлением он не носитя как с писаной торбой. Он просто живет этой правильной жизнью.

И вот, разглядывая открытку из Мекки или с одной из сценок в городском предместье, написанных Утрилло, я говорю себе: «Хороши обе, и та и эта». *Счастлив ли я? Становится ли радостней у меня на душе?* Я забываю о правильной жизни; забываю о своих обязанностях и долге. Я забываю даже о поросли ядоносного сумаха, которая упорно вновь лезет из земли. Когда я пишу акварель, мне хорошо. И если она доставляет мне столько радости, вполне возможно, что мои картины доставят радость кому-то еще. Если же нет, тогда мне стоит крепко задуматься... Так, какие краски хотел я взять, глядя недавно на холмы? Ах да, охра желтую и красную, и марс, и сиену натуральную, и чуточку розовой крапп-марены. Может, еще и капельку умбры натуральной. Отлично! Возможно, несколько напоминает цвет детской неожиданности, ну и что с того? *Moi, je suis l'ange de cocasse*.²³ Кое-где я чуть капнул *laque gérance*, красной камеди. Что за красивые названия у красок! Французские звучат даже лучше, чем английские. И не забудь, напоминаю я себе, когда будешь отправлять ту книгу по почте человеку, как уж там его зовут, в Иммензее – а может, в Гельсингфорс? – не забудь завернуть ее в «неудачную» акварель! Любопытно, как люди вдруг начинают ценить то, что выбрасываешь за ненужность! Попроси я пятьдесят центов за какую-нибудь незадавшуюся вещицу, мне будет отказано, но, если заверну в нее книгу, – словно она гроша ломаного не стоит, – человек ведет себя так, будто получил дар бесценный.

Похоже ведет себя Хэрридик, когда я встречаю его в лесу. Он постоянно подбирает что-нибудь с земли. Иногда это просто опавший лист. Поднимет и воскликнет: «Ты только взгляни! Что за чудо, правда?» *Чудо?* Сильно сказано. Я гляжу, что бы это ни было, – я видел это тысячу раз, но никогда не замечал, – и действительно, *чудо*. Более того, в его широкой, чуткой ладони оно больше чем чудо... оно необыкновенно, неповторимо. Продолжая шагать – он все так же держит лист на ладони, а дома еще долго будет им любоваться и разглядывать, – он начинает петь дифирамбы тому, что лежит у нас под ногами, тому, по чему мы ежедневно ступаем, даже не замечая, что давим его своими каблуками. Он говорит о его форме, строении, назначении, о том, что все происходящее под землей и на ее поверхности связано невообразимым и непостижимым образом, говорит об окаменелостях и фольклоре, о терпении и чуткости, об испытаниях, которые выпадают на долю крохотных созданий, об их хитрости, искусности, стойкости и так далее и тому подобное, пока у меня не возникает ощущение, что он держит в руке не опавший лист, а словарь, энциклопедию, пособие по искусству и философии истории – все вместе.

Время от времени, часто в разгар работы над какой-то вещью, я спрашиваю себя, имеет ли тип, что просматривал накануне мои акварели и возвращался к какому-нибудь «кошмару», чтобы взглянуть на него еще раз, имеет ли он хоть отдаленное представление о том, в каких

²² До тошноты (*лат.*).

²³ Что касается меня, то я – нелепый ангел (*фр.*).

обстоятельствах этот «кошмар» задумывался и создавался? Я спрашиваю себя, поверит ли он, если я скажу, что я написал эту акварель в несколько взмахов кисти, когда Герхарт Мюнх барабанил на моем разбитом рояле? Уловит ли он в ней хотя бы намек на то, что она вдохновлена Равелем? Его «Гаспаром из Тьмы»? Это случилось, когда Герхарт раз за разом повторял «Скарбо», тогда я вдруг совершенно потерял самообладание и начал рисовать музыку. Будто тысячи тракторов на полной скорости ездил вверх и вниз по моему позвоночнику – так на меня подействовала игра Герхарта. Чем быстрее становился ритм, громче и зловещей – музыка, тем легче летали мои кисти над листом. У меня не было времени сделать передышку или подумать. Вперед! Вперед! Умница Гарбо! Молодец Гарбо! Дорогой мой Ланселот Гарбо, Скарбо, Барбо! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Краска лилась с листа. С меня лил пот. Некогда было зад почесать. Шпарь, Скарбо! *Танцуй*, парень! Руки Герхарта мечутся, как цепи на току. Мои – тоже. Если он переходит в пианиссимо, а пианиссимо у него такое же красивое, как фортиссимо, я тоже перехожу в пианиссимо. Это означает, что я опрыскиваю деревья инсектицидом, ставлю точки над *i*. Я не знаю, где нахожусь и что делаю. Да и важно ли это? В одной руке у меня две кисти, в другой – три, и со всех каплет краска. И так это продолжается, акварель за акварелью, я распеваю, пританцовываю, раскачиваюсь, размахиваю руками, шатаюсь, бормочу, ругаюсь, ору. И в довершение бросаю одну из акварелей на пол и топчу каблуками. (Славянский экстаз.) К тому времени, как Герхарт заканчивает шлифовать кончики пальцев, я успеваю выдать полдюжины акварелей (завершенных, с кодой, каденцией и аппендиксом), которые способны распугать всех птиц в округе.

То есть я хочу сказать, всегда смотрите внимательней, если вам попадется акварель, подписанная моим именем. Может быть, ее вдохновили Равель, Нижинский или кто-нибудь из нижегородских парней. Не отбрасывайте ее, если она покажется вам неудачной. Ищите фирменный знак: железную пятую или хорошо темперированный клавир. За нею может стоять целая история. В другой раз я возьму вас в Голливуд и покажу двадцать пять акварелей, за которые Леон Шамрой – такой вот он ненормальный – заплатил мне. Потом вы увидите, что даже неудачная вещь, если ее поместить в пристойную раму, будет смотреться так, что у вас слюнки потекут. Леон – да помилует Бог его душу! – заплатил мне хорошие деньги за те акварели. Еще больше он заплатил за рамы, в которых они висят. Две из них он позже прислал мне обратно, оплатив доставку. Не выдержали испытания эти две акварели. Испытания великолепными рамами, вот что я имею в виду. Те, что он вернул, пришли в рамах. Что, я считаю, очень благородно со стороны Леона. Я выдрал акварели из рам и вставил чистые листы бумаги. Почерком Бальзака написал на девственной поверхности одного: «Это Кандинский». А на втором: «Вот белый лист, охота нам написать на нем свое хоть что-то, пускай возьмет других зевота».

На сем заканчиваю. Перерыв на обед.

5. Сияющий взгляд (Пуки и Батч)

«Мир и покой Схевенингена теперь действуют на меня как анестезия», – писал мне мой друг Якоб Хендрик Дюн не то в двадцать втором, не то в двадцать третьем году.

Я часто думаю об этой странной фразе, когда купаюсь в серном источнике, вокруг ни души, только море, небо и тюлени. Несколько часов общения с природой устраняют весь детрит, что скопился у основания черепа оттого, что приходится развлекать гостей, читать рукописи, нагоняющие тоску, отвечать на письма поэтов, профессоров и всякого рода идиотов. Поразительно, с какой легкостью вновь оживают и начинают фонтанировать источники внутри тебя, стоит только предаться полнейшей праздности.

Приходя принимать серные ванны, я обычно находил там Одена Уортона, восьмидесятилетнего старика, у которого хватило здравого смысла в сорок пять лет бросить работу в руководстве сталелитейной компании, дававшую ему сто тысяч в год. И жить, абсолютно ничего не делая! Оден прекрасно себя чувствовал, будучи вольным, как птица, и совесть ничуть его не беспокоила. Разговаривая с Оденом, начинаешь сомневаться, что мир пойдет прахом, если мы всё бросим и станем жить, как лилии полевые. Теперь у него не было ни гроша за душой, у этого славного Одена, но Бог не оставлял его своей заботой. На то, чтобы избавиться от богатства, которое он скопил, занимаясь бизнесом, ушло несколько лет. Из них несколько, совсем немного, он прожил в лесах Мэна с проводником, охотясь и рыбака. Идиллическое то было времечко, как послушать рассказы Одена.

Теперь, когда он доживает свои дни, за ним присматривает супружеская пара Имсов, Эд и Бетти. Под «присмотром» я подразумеваю терпеливое ожидание, когда у него остановится сердце.²⁴ Оден никогда не болеет, не ощущает времени. Живет беззаботно, как бабочка. Если есть с кем поговорить, он разговаривает; если не с кем – читает. Дважды в день, с постоянством Иммануила Канта, он совершает неторопливую прогулку к источникам и обратно, проходя около мили. Этого вполне достаточно, чтобы не дать мышцам атрофироваться. Безобидное чтение, грудой наваленное возле его кресла, нагоняет на него сон к восьми часам; если оно не подействует, поможет радио.

Я люблю поболтать с Оденом. Но еще больше с Батчем. Батч, как мы зовем его, – это маленький сын Имсов. Он примерно одних лет с моим Тони, и Бог наградил его ангельским характером. Иногда, идя купаться, я оставляю Тони у Имсов поиграть с Батчем. Нравом они похожи не больше, чем две стороны одной медали.

Батч всего лишь с год как может нормально ходить. Он родился с изуродованными стопами, косоглазый и с наростом или шишкой на носу, что грозило ему с возрастом стать похожим на Сирано де Бержерака. После многочисленных операций и долгих лежаний в больнице он избавился от всех своих дефектов. Может, я ошибаюсь, считая его невероятные доброту и кротость следствием лишений, разочарований и мучений, испытанных в раннем возрасте. Но такое впечатление у меня сложилось, и, прав я или нет, скажу откровенно, в наших местах нет второго такого ребенка, как Батч.

Когда к ним приходишь, он всегда бежит навстречу, еще не совсем уверенно перебирая ногами, его глаза по-прежнему, того гляди, сойдутся к переносице. Но каким искренним восторгом сияет его лицо! Чувствуешь себя посланником небес, который привиделся ему в грезах.

– А у меня новые ботинки, во! – Он выставляет ногу, чтобы я полюбовался, словно его ботиночки золотые или из алебаstra. – Хочешь посмотреть, как я сейчас побегу? – И он пробегает несколько ярдов, потом резко останавливается и смотрит на тебя с небесной улыбкой.

²⁴ Что и произошло спустя несколько месяцев, как я написал эти строки. – *Примеч. Г. Миллера.*

Что может быть чудесней для семилетнего мальчишки, чем ходить, бегать, скакать, прыгать? Когда Батч это делает, понимаешь, что, если б мы обладали только одним этим даром движения, на что способно любое животное, мы все равно были бы счастливы. Физические действия у Батча превращаются в божественную игру. Скажу больше, каждое его движение – как благодарственная молитва, как праздник ангельского существа.

Как всякий мальчишка, он обожает подарки. Но в случае Батча, если вы подарите ему простой камушек, подобранный в поле, и скажете, что нашли его для *него*, он примет его с такими же восторгом и благодарностью, какие другой мальчишка выразит, разве если только ему подарят позолоченную пожарную машину. Нож хирурга, нескончаемые дни и ночи, проведенные в одиночестве на больничной койке, отсутствие товарищей по играм, ожидание, надежда, тоска, которые он познал глубинную суть души, – все это смягчило его характер. Ему кажется непостижимым, что кто-то может причинить ему зло, даже какой-нибудь не в меру буйный и бесчувственный товарищ по играм. В своей невинности, пренебрегая явными свидетельствами, что такое возможно, он ожидает от других лишь проявлений великодушия и любви. В нем нет ни капли злобы или зависти. Ни обиды, ни тоски. Конечно, он любит играть с детьми одного с ним возраста, не слишком драчливыми и не слишком скверными, но если таких не находится, а их обычно не находится, то он играет с птицами, цветами, старыми игрушками, обходится фантазиями, на которые столь неисчерпаемо щедра добрая душа. Когда он вдруг начинает что-то говорить, кажется, что это птичка щебечет тебе на ухо.

Батч никогда ни о чем не просит, разве только ты сам ему что-то пообещаешь. Но даже тогда он просит так, – предполагая, что ты забыл о своем обещании, – что чувствуешь: он зараннее уже простил тебя. Батч просто не способен даже в мыслях посчитать кого-то «подонком». Или «придурком». Если он упадет, споткнувшись, и сильно ушибется, то не станет сидеть и хныкать, пока ты его не поднимешь. Нет, сэр! Со слезами на глазах он поднимается сам и улыбается тебе своей прекрасной улыбкой, как бы говоря: «Это все моя дурацкая нога виновата!»

Однажды, вскоре после операции на глазах, Батч пришел к нам. Тони дома не было, и его трехколесный велосипед стоял в саду. Батч попросил разрешения покататься. Он никогда еще не садился на велосипед, но главная сложность была в том, что он еще плохо видел. Как он мне сказал, в глазах у него двоилось. Сказал он об этом, конечно, так, словно делился впечатлением, какое это замечательное ощущение. Я показал ему, как править, как тормозить, крутя педали назад, и прочее. Ему понадобилось время, чтобы освоиться. Ноги слушались его еще не очень хорошо; каждый раз, когда он делал крутой поворот, велосипед опасно кренился. Несколько раз он падал, но тут же вскакивал, радостно смеясь.

К тому времени, как Батчу пора было уходить, я понял, что этот велосипед должен принадлежать ему. Велосипед был невесть какой, старенький, но, чтобы поучиться ездить, вполне годился. Я объяснил Батчу, что, как только Тони вернется домой, я спрошу его, не отдаст ли он велосипед. (Я знал, что Тони согласится, потому что это означало новый велосипед для *него*.) Я сказал Батчу, что завтра собираюсь в город, что куплю Тони новый велик, а старый привезу ему.

«Значит, завтра вы придете к нам?» – были последние его слова.

Батч ушел, а я ни о чем другом не мог думать, как только о его взгляде, когда он услышал, что унаследует старый велосипед Тони. Разумеется, на завтра я вскочил с утра пораньше и отправился в город. К несчастью, мне не удалось сразу найти подходящий по размеру велосипед для Тони в универмаге, где у меня был кредит. А наличных, чтобы купить его в другом месте, я не захватил.

(Все нынче стоит целое состояние. Когда-то участник гонок в Мэдисон-сквер-гарден продал мне гоночный велосипед за сумму, которую теперь просят за детский велик.)

В тот вечер я должен был поехать к Батчу и объяснить ситуацию. Но не поехал. Я надеялся, что он сможет немного потерпеть – и, когда я наконец появлюсь, простит меня, как всегда

всех прощает. Прошло дня четыре или пять, прежде чем я завернул к ним со старым великом в багажнике машины. Подъехав, я заметил Батча, поджидавшего меня, словно мы с ним договорились встретиться в этот час. Я видел его нетерпение. И в то же время от меня не укрылось, что он старается держать себя в руках на тот случай, если придется испытать разочарование.

– Ну, Батч, как дела? – бодро спросил я, вылезши из машины и крепко обняв его. Батч, обхватив меня за шею, тайком заглядывал через мое плечо в машину.

– У меня все хорошо, – ответил он, лицо его горело, руки дрожали от возбуждения.

Чтобы лишнее мгновение не держать его в напряжении, я открыл багажник и вытащил велосипед.

– Ох! – воскликнул он, вне себя от радости. – Так вы привезли его! Я думал, что забыли. – И он рассказал, как ждал меня каждый день, как выбегал на улицу всякий раз, когда какая-нибудь машина заворачивала в их сторону.

Я чувствовал себя отвратительно и оттого, что заставил его ждать так долго, и оттого, что привезенный мною велосипед был в неважном состоянии. Сиденье отваливалось, руль перекошен, и, кажется, не хватало одной педали. Но Батч не обращал внимания на подобные пустяки. Дед все поправит, сказал он.

По пути домой я задумался о том, что ожидает Батча, когда он вырастет. Я чувствовал, что в нем есть нечто такое, что редко встречается у американских мальчишек. Если его не заберут в армию и не используют как пушечное мясо, он может далеко пойти. Он уже был маленький Рамакришна. То есть из тех редкостных созданий, которых рождает земля – в каком угодно веке, в какой угодно стране, – экстатических, переполненных любовью. На мысль пришли строки из книги – о детях Чунцина:

«В здешних беспризорных детях столько сердечной доброты, что я вновь начал верить, как верил в это много лет назад, что было бы куда лучше, если б мир принадлежал детям, и любого, достигшего двенадцати лет, следовало бы безболезненно умерщвлять».²⁵

Сколько бы мы ни говорили, что живем ради наших детей, сколько бы для них ни делали – как правило, слишком много, – американский ребенок несчастлив со своими родителями и, что еще хуже, с самим собой. Он чувствует, что мешает родителям, усложняет им жизнь, что от него откупаются. Вряд ли какой-нибудь американский педагог способен написать о гармоничных отношениях между родителями и детьми так, как написал Кайзерлинг, рассказывая о Японии в своем «Путевом дневнике». С другой стороны, вряд ли какой европеец или выходец с Востока смог бы изобразить американскую женщину так, как Кайзерлинг изображает японку. Позвольте мне привести отрывок из его книги:

«У всякого, кто обладает хоть толикой вкуса, то есть у всякого мужчины, не требующего, чтобы бабочка походила на гиппопотама, может быть лишь единственное мнение о японках: японская женщина – одно из прекраснейших, одно из немногих абсолютно совершенных созданий этого мира... Подлинное наслаждение – любоваться женщинами, которые являют собою саму грациозность, которые не тщатся казаться иными, нежели они есть, красивее или умнее, и чувства которых чрезвычайно глубоки. В душе они не слишком отличаются от европейских девушек, которые хотят того же, что их сестры на Дальнем Востоке, – они хотят нравиться, быть притягательными, а все остальное, включая интеллектуальные интересы, – это средства для достижения цели. Сколь многие из тех, кто производят впечатление особ, имеющих лишь духовные запросы, вздохнули бы с облегчением, если б можно было пренебречь этими обходными маневрами обольщения, от которых сложно отказаться в их мире, и преподнести себя так, как это делают японские женщины! Но именно это дается им с трудом, именно здесь они терпят неудачу. Современная девушка уже чересчур рассудочна для наивного совершенства, чересчур знающа для неподдельной естественной грации, а главное, натура

²⁵ Роберт Пейн. Вечный Китай. – Примеч. Г. Миллера.

ее чересчур богата, чтобы вообще достичь совершенства. Привлекательностью никакая западная красавица не сравнится с образованной японской дамой».²⁶

²⁶ Граф Герман Кайзерлинг. Путевой дневник философа. – *Примеч. Г. Миллера.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.